

22.255к 7

# ИВАНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ



8

ОГИЗ — ИВГИЗ — 1947

ИЗ БИБЛИОТЕКИ

поэта

*Дмитрия Николаевича  
Семеновского*

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК  
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ  
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач

З ТМО Т. 3.600.000 З. 1653—91

Д. Селомовский

ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

# ИВАНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ

КНИГА ВОСЬМАЯ

ОГИЗ

Ивановское областное  
государственное издательство  
1947

кР 22.255



с - 2010

## О ЗАДАЧАХ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ<sup>1</sup>

### I

Прошло свыше двух лет после окончания Великой Отечественной войны Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков. Народы Советского Союза под руководством коммунистической партии большевиков и своего великого вождя товарища Сталина вышли из войны победителями. Победоносный исход войны говорит не только о победе советского оружия, советского общественного и государственного строя, но и о победе марксистско-ленинской идеологии над идеологией фашизма. Идеологическая победа ленинизма, одержанная партией Ленина—Сталина в годы суровых военных испытаний, показала несравненное превосходство советской идеологии над идеологией фашистских и буржуазно-демократических партий. Об этом свидетельствует военный и политический разгром фашизма, кризис старой буржуазной демократии, увеличивающийся рост числа членов и влияния коммунистических партий в зарубежных странах.

Война показала, что советский народ един с партией большевиков в своих убеждениях и взглядах на судьбы Родины. Ни одна правящая партия в мире никогда не добивалась такого невиданного морально-политического единства народа. Это единство не пришло самоотечком. Оно было достигнуто в результате неустанной и самоотверженной работы партии большевиков в народных массах.

Но наша победа вовсе не означает, что на идеологи-

<sup>1</sup> Сокращенная стенограмма лекции, прочитанной на собрании интеллигенции г. Шуи.

ческом фронте наступил мир и спокойствие. Наоборот, наше продвижение вперед к коммунизму, наша борьба за построение коммунизма проходят и будут проходить в обстановке ожесточенной идеологической борьбы против чуждых нам влияний, которые заносили, заносят и в дальнейшем будут пытаться заносить к нам агенты буржуазного мира.

Смешно было бы думать, что после военного разгрома фашизма враги социализма, враги советского государства на этом успокоятся, что реакционные силы капиталистического мира оставят свои попытки каким-либо образом подорвать мощь советского социалистического государства. Что не удалось совершить экономическим, политическим и военным путем, то пытается ныне достигнуть мировая реакция и прежде всего буржуазия США и Англии идеологическим наступлением на СССР. Империалистическая реакция стремится использовать создавшиеся в нашей стране временные трудности послевоенного периода, чтобы подорвать веру нашего народа в коммунизм, запугать наших людей, особенно интеллигенцию и молодежь, всякими трудностями и опасностями, морально разложить наименее устойчивую часть их.

Мы располагаем достаточным количеством данных, свидетельствующих о наличии среди отсталой части советской интеллигенции недостойных нашего народа низкопоклонства перед иностранщиной, раболепия перед культурой буржуазного Запада, о серьезном неблагополучии в морально-политическом состоянии некоторых представителей интеллигенции.

Объясняется это тем, что отсталая часть нашей интеллигенции еще находится в плену проклятого прошлого царской России, когда господствующие классы вбивали в голову русской интеллигенции сознание неполноценности нашего народа и убеждение, что русские всегда-де учились и должны учиться у Западной Европы.

В атмосфере слепого и рабского преклонения господствующих классов царской России перед иностранщиной часто грубые и невежественные люди занимали руководящие посты в правительстве только потому, что были иностранцами. Так, немцы: Остерман был «великим канцлером» Российской империи, Бирон — всесильным ее диктатором; Бенкендорф — шефом жандармов; без-

дарный генерал Пфуль — военным педагогом Александра I, невежественные и чуждые науке Шумахеры и Миллеры — руководителями Российской Академии Наук.

Оторванные от народа и чуждые ему господствующие классы царской России не верили в творческие силы русского народа и не допускали возможности, чтобы Россия собственными силами выбралась из отсталости. Научным открытиям русских ученых не придавалось значения, а их крупнейшие открытия (Ломоносова в области химии, Попова по радио, электролампы Яблочкова и др.) передавались иностранцам или жульнически присваивались ими.

Наука в России всегда страдала от преклонения перед иностранщиной.

Великая Октябрьская социалистическая революция освободила народы России от экономического и духовного порабощения иностранным капиталом. Советская власть сделала нашу страну свободным и самостоятельным государством, оплотом мировой цивилизации и прогресса.

Однако пережитки канувшего в вечность проклятого прошлого царской России еще живут в умах отдельных наших граждан и влекут за собой недостойное советских людей раболепие и низкопоклонство перед иностранщиной, антипатриотические поступки.

На наименее устойчивую часть интеллигенции продолжает оказывать влияние враждебное нам капиталистическое окружение.

Империалисты всячески стремятся поддерживать и оживлять вреднейшие пережитки капитализма в сознании наших людей, пытаются разложить наименее устойчивую часть советских граждан и ослабить тем самым советское государство.

Буржуазные теоретики и политики всемерно восхваляют свою буржуазную демократию и буржуазную цивилизацию, изображают их высшим достижением человечества, пределом совершенства.

Одновременно с этим они усиленно пытаются раздуть национальную рознь между народами нашей страны, подрывать уважение одного народа к другому, разлагать советскую молодежь в моральном отношении, культивируя нравы и поступки, чуждые советскому человеку и присущие людям буржуазного мира — стяжа-

тельство, казнокрадство, эгоистическое безразличие к интересам народа, распущенность в быту и труде.

Проникновение буржуазной идеологии идет к нам через иностранные радиопередачи, через газеты, журналы и книги, издаваемые за рубежом, через буржуазно-националистическую пропаганду, которую ведут агенты иностранного империализма, особенно в Прибалтийских республиках, Западной Украине, Западной Белоруссии, Молдавии и других областях, недавно воссоединенных с нашей страной.

Это проникновение буржуазной идеологии идет через бессознательные, а иногда и чуждые рассуждения о мнимых преимуществах жизни в Западной Европе, слепое преклонение перед буржуазной наукой, искусством, капиталистической «цивилизацией».

Проникновению буржуазной идеологии содействует аполитичность и безидейность отдельных наших работников, недостаточно критично относящихся к различным буржуазным теориям, пропагандирующим чуждые советскому народу мораль, идеологию.

При помощи своей буржуазной идеологии реакционные силы капиталистического мира не раз пытались подорвать духовную мощь советского народа, посеять среди него неверие в свои силы, в возможность построения социалистического общества. Мы были свидетелями того, как реакционные силы капиталистического мира пытались морально разложить наш народ в период борьбы за построение социализма.

При помощи своих троцкистско-бухаринских агентов-шпионов и диверсантов они пытались посеять в сознании народных масс нашей страны неверие в свои силы, в возможность победы социализма, а при помощи буржуазно-националистической агентуры — поссорить между собой народы СССР и подготовить расчленение Советского Союза. При помощи своих агентов в области литературы, искусства и науки они пытались привить советским людям национальный нигилизм, отрицательное отношение к своему прошлому, к своей истории, культуре, лучшим национальным традициям, упорно пропагандируя, что русские всегда-де были только учениками и подражателями Западной Европы. Они твердят, что наш Толстой будто бы многое заимствовал у немца Ницше; наш Глинка якобы копировал немецких



композиторов, наш Белинский и Чернышевский будто бы были учениками Гегеля и других немецких идеалистов. Они доказывали, что даже само русское государство возникло якобы благодаря иноземным разбойничавшим купцам-варягам.

В период Великой Отечественной войны немецко-фашистские захватчики на временно оккупированных советских территориях старались всеми мерами отравить сознание советских людей, привить им реакционную идеологию, посеять вражду между ними, разжечь частнособственнические инстинкты, пытаясь тем самым подорвать духовную мощь советского народа, его веру в собственные силы, в способность осуществить великую роль в мировой истории.

Партия Ленина—Сталина разоблачила все эти буржуазные «теории» и высоко подняла на щит лучшие традиции народов СССР в военном деле, в литературе, в искусстве, в науке, показала все величие русской нации — нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова. Россия дала миру Ленина и Сталина, она стала родиной ленинизма — высшего достижения русской и мировой культуры.

Пропаганда патриотических традиций народов СССР как до войны, так и особенно в годы войны серьезно помогла нам в деле мобилизации всех сил советского народа на отпор врагу. Она и в послевоенный период имеет исключительное значение для воспитания советских людей, как активных и сознательных строителей социализма.

В советском народе нет таких социальных групп, которые сознательно могли бы поддержать капитализм или стремиться к его возрождению. Абсолютное большинство трудящихся СССР не мыслит себе никаких общественных порядков, кроме порядков советских, социалистических; у них нет иных взглядов и убеждений, кроме советской идеологии.

У большевистской партии и советского государства достаточно средств идеологического и политического воздействия на народ, достаточно подготовленных и преданных делу коммунизма кадров, чтобы преодолеть любое влияние буржуазной идеологии. Но вместе с

этим, нельзя забывать об опасности занесения в нашу страну буржуазных влияний, полагая, что все наши люди обладают невосприимчивостью в отношении буржуазной идеологии и морали, не замечать груза прошлого у части нашей интеллигенции, наличия у отдельных представителей ее вредного низкопоклонства перед иностранщиной.

Никогда нельзя забывать о том, что строительство коммунизма в нашей стране идет и будет проходить в обстановке противодействия буржуазной реакции извне. Нельзя также забывать и о наших международных обязанностях — о миллионах простых людей, которые видят в СССР главную силу борьбы за мир и безопасность, разоблачителя агрессии и профашистской политики, великую материальную и идейную силу, ведущую за собой новые народно-демократические государства, борца за подлинную демократию во всем мире.

Вот почему известные решения ЦК ВКП(б) по вопросам идеологической работы имеют для нас огромное историческое значение в дальнейшей работе по коммунистическому воспитанию советских людей и, прежде всего, по воспитанию советской интеллигенции.

## II

В нашей стране победил социализм. Развитие советского общества идет по пути завершения строительства социализма и постепенного перехода от социализма к коммунизму. В этих условиях решающее значение приобретает воспитание высокой коммунистической сознательности у всех тружеников советского общества, воспитание в наших людях бодрости, уверенности в своих силах, готовности преодолеть любые трудности и препятствия по пути к коммунизму. Еще XVIII съезд ВКП(б) указывал, что решающее значение в деле перехода от социализма к коммунизму имеет «дело коммунистического воспитания трудящихся, преодоление пережитков капитализма в сознании людей — строителей коммунизма».

Пережитки капитализма в сознании людей сами собой не умирают, для их преодоления нужна воспитательная работа. Эту работу проводит большевистская партия, наше советское государство, ибо ему, как государству нового типа, свойственна и такая новая за-

дача, как задача политического и идеологического воспитания народа.

Победа социализма в СССР привела к коренным изменениям не только в экономике страны, но и в сознании людей. Трудящиеся советской страны в подавляющей массе своей стали сознательными и активными строителями нового общества. Характер происшедших изменений очень ярко охарактеризовал тов. Жданов в своем докладе на собрании партийного актива г. Ленинграда.

«Мы уже не те русские, — говорил он, — какими были до 1917 года, и Русь у нас уже не та, и характер у нас не тот. Мы изменились и выросли вместе с теми величайшими преобразованиями, которые в корне изменили облик нашей страны».

Господствующими идеями в СССР стали идеи марксизма-ленинизма, ими руководствуется великая большевистская партия, руководящая и направляющая сила советского общества, ими руководствуются во всей своей практической деятельности миллионы советских людей.

Победа социализма произвела переворот во взглядах людей на труд. Из зазорного и тяжелого бремени, каким считался труд рабочих раньше, он превратился в дело чести, в дело славы, в дело доблести и героизма.

Новой стала наша колхозная деревня. Коллективизация сельского хозяйства изменила самого крестьянина, расширила его кругозор, изменила его отношение к труду. В деревне не стало частной собственности на средства производства, не стало кулака-мироеда, не стало эксплуатации. Вместе с частнособственническим производством и эксплуатацией канули в прошлое многие привычки бывших единоличников. Колхозное крестьянство в массе своей избавилось от частнособственнических, эгоистических устремлений, оно активно и сознательно борется за укрепление колхозного строя.

За годы советской власти у нас народилась и выросла новая, советская интеллигенция, единая в своих целях со всеми трудящимися СССР, готовая служить им верой и правдой.

Миллионы рабочих, колхозников и интеллигенции понимают, что благосостояние отдельного советского человека зависит от благосостояния всего советского народа.

от успехов нашего государства, поэтому они, не жалея сил, трудятся на благо социалистического отечества, все шире разворачивают социалистическое соревнование и стахановское движение в городе и деревне.

Суровое испытание выдержал наш народ в годы Великой Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков. Рабочие, крестьяне, советская интеллигенция проявили высокую сознательность, понимание общегосударственных интересов. Миллионы советских людей без колебаний отдавали свои силы и самую жизнь борьбе за честь и независимость советской Родины, за ее социалистическое процветание. Все это убедительно свидетельствует о том, что социалистическое сознание глубоко проникло в массы, что оно овладело массами и превратилось в великую материальную силу.

За годы советской власти в нашей стране осуществлены коренные революционные преобразования во всех областях экономической, политической и культурной жизни. Подавляющее большинство населения Советского Союза стало тружениками социалистического общества. Однако надо иметь в виду, что сознание людей в его развитии всегда отстает от их экономического положения. Нельзя не видеть того, что уровень политической сознательности и культуры различных членов советского общества неодинаков, что есть еще люди, которые находятся под влиянием старых представлений и предрассудков, под влиянием пережитков капитализма.

Товарищ Сталин в докладе на XVII съезде партии подчеркивал, что мы еще не преодолели пережитки капитализма не только в сознании людей, но даже в экономике страны. Это объясняется тем, что сознание людей отстает от изменений в условиях материальной жизни общества, а также тем, что существует капиталистическое окружение, которое старается оживлять и поддерживать пережитки капитализма в экономике и сознании советских людей.

Борьба с пережитками капитализма тем более необходима, что носителями их нередко являются честные советские люди, работающие на наших предприятиях, в колхозах, учреждениях. Лишь отдельные люди в нашем обществе, которым чужды интересы советского народа, сознательно нарушают законы советского государства и правила социалистического общежития.

Пережитки капитализма в сознании людей проявляются в различных формах — в несоциалистическом отношении к труду и общественной собственности, в несоблюдении правил социалистического общежития.

Среди миллионов честных советских труженников до сих пор встречаются еще люди, не желающие работать, стремящиеся прожить за счет других, за счет государства. Есть люди, которые нарушают дисциплину труда, социалистический принцип распределения по труду, допускают брак в работе, хищение социалистической собственности. В колхозах такие люди отлынивают от работы в общественном хозяйстве, нерадиво относятся к коллективному имуществу, в ущерб хозяйству колхоза всячески развивают свое личное хозяйство.

Думая только о себе и не желая считаться с интересами других, с интересами всего народа и государства, носители таких пережитков не останавливаются перед прямым посягательством на общественное, социалистическое имущество, перед воровством и подлогами.

Многим из вас хорошо известен бывший директор Ивановского педагогического института Осипенков, систематически расхищавший государственные ценности, присваивавший заработанные студентами деньги, отпущенный для лабораторных занятий спирт, спекулировавший мануфактурой, из-за подхалимских соображений и за взятки выдававший дипломы об окончании института тем, кто в институте никогда не учился и никаких экзаменов не держал.

В нашей области встречаются такие руководящие работники, которые забывают об ответственности перед государством, по своему усмотрению, вольно, расходуют государственные материальные ценности и средства, проявляют «заботу» по отношению к своим друзьям и «сослуживцам» за счет народа. Так, бывший директор Ивановского комбината искусственной подошвы Скворцов сдавал потребителям нестандартную продукцию, незаконно списывал недостачи материалов на потери в производстве, разбазаривал материальные ценности и вырабатываемую комбинатом продукцию, менял ее на сельскохозяйственные продукты, которые делил между своими приближенными.

Снятый с работы директор облфилармонии Гардашников незаконно расходовал государственные средства,

грубо нарушал штатное расписание, не принимал мер к отдельным рвачам из своего учреждения, привыкшим жить за счет государства.

Все эти пережитки капитализма противоречат фактическим отношениям, сложившимся в нашем социалистическом обществе. Они выражают крайний индивидуализм и эгоизм буржуазного общества, основанного на частной собственности на средства производства и живущего по принципу: «Человек человеку волк», «Своя рубашка ближе к телу». Характеризуя крайний индивидуализм буржуазного общества, Ленин писал:

«Если я хозяйничаю на этом участке земли, мне дела нет до другого; если другой будет голодать, тем лучше, я дороже продам свой хлеб. Если я имею свое местечко, как врач, как инженер, учитель, служащий, мне дела нет до другого». (Т. XXV, стр. 393).

Теперь, когда советские люди напрягают все свои силы на осуществление высоких темпов восстановления и развития народного хозяйства, особенно нетерпимы расхлябанность и равнодушие к интересам общества, любая попытка обойти, нарушить советские законы, вольное обращение с народной казной, нетерпима мелкобуржуазная распущенность в труде и в быту.

Немало встречается антиобщественных индивидуалистических поступков и в деревне, где они в основном выражаются в нарушении Устава сельскохозяйственной артели. Нет надобности приводить здесь конкретные примеры этих фактов, они имеются в каждом районе. Следует добавить только то, что иногда некоторые руководящие работники, а также представители интеллигенции нарушают Устав сельхозартели или способствуют этому. Даже после решения ЦК и правительства «О мерах ликвидации нарушений Устава сельхозартели в колхозах» отдельные из них ухитряются поживиться колхозным добром, жить за счет колхозов. Так, в Острецовском сельсовете, Родниковского района, заведующий клубом т. Сироткин длительное время числился также начальником добровольной пожарной дружины, за что получал с колхозников 37 трудодней в месяц. Причем ни сельский совет, ни партийная организация не помогли колхозникам устранить это явное нарушение Устава сельхозартели.

В нашей стране, где господствует общественная соб-

ственность на средства производства, подавляющее большинство народа берегут и укрепляют ее, как основу советского строя, источник богатства и могущества Родины, источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся. И если еще встречаются у нас случаи проявления крайнего индивидуализма, проявления пережитков капитализма, то они вполне могут быть преодолены путем повседневной борьбы с ними, неустанным воспитанием у трудящихся СССР социалистического отношения к труду, к общественной собственности, путем развития коммунистического сознания.

Пожалуй, чаще всего пережитки капитализма в сознании советских людей проявляются в быту, во взглядах на женщину. Иногда эти неправильные, нетоварищеские отношения к женщине присущи лицам, достигшим известного сознания в отношении к своей производственной и общественной деятельности.

Сослюсь на один пример — директором Шуйского ремесленного училища № 10, а затем Ивановского ремесленного училища № 9 длительное время работал некий Шлыков, положительно характеризовавшийся областным управлением трудовых резервов.

Проверкой поступивших на Шлыкова заявлений о его нечистоплотности в быту было установлено, что Шлыков в разное время оставил четырех жен, каждая из которых имела от него детей. Когда Шлыков женился еще раз, одна из его дочерей, находившаяся на службе в армии, написала ему:

«Отец, я никогда не думала, что и на старости лет Вы будете таким же, каким были и раньше. Ведь Вы же член партии. Как только не стыдно, хотя бы не позорили наши ряды, честь коммуниста. Эх, отец, пора образумиться, поймите же, что скоро внучата будут, а вы продолжаете жениться каждую неделю. Вы не можете дать своим детям настоящее воспитание, а только способны производить их на белый свет. Надо быть не только на работе советским гражданином, но и в быту, в семье. Надо любить вообще детей, не говоря уже о своих родных; а у Вас капли этого гражданского чувства нет».

Так осудила Шлыкова — этого интеллигентного на первый взгляд человека, его дочь — советская девушка, воспитанная без усилий отца в советских условиях,

осудила потому, что поведение Шлыкова — это проявление проклятого прошлого, это выражение крайнего эгоизма и хамского отношения к женщине, к семье, к детям, отношения, которое несовместимо с сознанием настоящего советского человека.

Пример со Шлыковым не типичен, но он показывает, до какой степени сильны такого рода пережитки капитализма в сознании отдельных наших граждан.

К числу пережитков капитализма следует отнести также взяточничество, «блат», случаи спекуляции. До какой степени доходит эгоизм носителей пережитков капитализма можно судить хотя бы по такому примеру: бывший заведующий школой в г. Кинешме Панов продавал на рынке по спекулятивным ценам тетради и учебники, отпущенные для учащихся. Учитель обкрадывал своих же учеников.

Так же нетерпимы, как нарушение трудовой дисциплины, несоциалистическое отношение к общественной собственности, недостойное поведение в быту, проявления пережитков капитализма, выражающиеся в бюрократизме, отсутствии должного внимания к нуждам трудящихся, в попытках зажима критики и самокритики, в замене большевистского принципа подбора и расстановки кадров приятельскими отношениями и т. д.

Показателен в этом отношении пример из практики работы областной конторы «Госстрахфонд».

Бывший управляющий конторой Беляков, игнорируя сталинский принцип подбора кадров по деловым и политическим соображениям, забыв, что он только находится на службе в советском учреждении и может распоряжаться народным имуществом в строгом соответствии с советскими законами, подбирал кадры по семейному принципу. Свою дочь назначил главным бухгалтером областной конторы, зятя — директором Гаврилово-Посадской базы, на Шуйскую базу директором послал темного дельца Кищенко, а бухгалтером, не внушающего доверия, Дианина. Они подобрали себе на базу штат работников, в котором 40% оказалось людей ранее неоднократно судимых. Удивительно ли, что такие «кадры» продолжали разворовывать зерно с базы до тех пор, пока не были пойманы с поличным.

Агроном Шуйской базы т. Марычева обратилась к Белякову с заявлением о том, что на базе под руковод-



ством присланного им Кищенко действует шайка воров. Беляков не только не принял мер по этому сигналу, но уволил Марычеву с работы «по сокращению штата».

Обком ВКП(б) снял Белякова с работы, исключил его из партии и поручил прокурору привлечь к уголовной ответственности.

Величайшим завоеванием нашей партии и правительства является дружба народов СССР, которая развилась и укрепилась на основе советских социалистических порядков, утвердившихся в нашей стране. Эта дружба проверена в многочисленных боях братских народов против эксплуататоров в нашей стране и их иностранных покровителей. Она проверена в годы мирного труда и в горниле Великой Отечественной войны.

Впервые в истории человечества возникло такое многонациональное государство, которое не только не раздирается национальными противоречиями и враждой, а основано на началах великого содружества наций. Советскому человеку чужды всякий гнет, всякая социальная и национальная исключительность. Однако до сего времени у нас встречаются еще люди, которые выражают неприязнь и неуважение к языку, обычаям и культуре других народов СССР. Подобные отношения к другим народам являются пережитком прошлого, они вредят делу еще большего укрепления дружбы народов Советского Союза, и с ними необходимо вести самую суровую борьбу.

Партия большевиков ведет неустанную борьбу за то, чтобы в сознании советских людей были преодолены все пережитки капиталистического прошлого — недобросовестное отношение к труду, звериный эгоизм, мелкобуржуазная распущенность в быту, недостойное отношение к семье, национализм и т. д., ибо все это мешает делу строительства коммунизма в нашей стране.

Носителями пережитков капитализма в сознании людей у нас являются теперь в большинстве случаев советские люди, поэтому эти пережитки должны преодолеваются, прежде всего, и, главным образом, путем дальнейшего повышения уровня сознательности и культуры советских людей, путем неустанного разоблачения враждебных элементов, сочувствующих реакционным силам капитализма, отпора проидам иностранной реак-

ции, путем борьбы против низкопоклонства перед иностранной, растленной буржуазной культурой — одного из самых худших и отвратительных пережитков рабского капиталистического прошлого в сознании отдельных советских людей. Партия большевиков воспитывает наш народ в духе высокой идейности не только путем показа советскому человеку того, каким он должен быть, но и путем показа нашим людям того, какими они не должны быть, повседневно бичуя пережитки прошлого капиталистического общества, мешающие нашему движению вперед.

### III

Какие же задачи стоят перед нами в связи с вышеизложенным? Коммунистическое воспитание, неуклонное повышение идейного уровня народа составляют жизненную потребность советского строя. Известно, что социалистическое сознание ускоряет движение советского общества вперед, умножает источники его силы и могущества. Задача, следовательно, состоит в том, чтобы неустанно вести работу по повышению социалистической сознательности всех трудящихся. Воспитывать людей в коммунистическом духе — это значит вести повседневную, кропотливую работу по преодолению пережитков капитализма в их сознании.

Еще на XVIII съезде партии, в докладе о третьем пятилетнем плане, товарищ Молотов говорил:

«У нас создано столько предпосылок, столько возможностей для дальнейшего подъема и полного расцвета нашего общества, что теперь главное у нас состоит в коммунистически-сознательном отношении к своему труду и, особенно, в успешности нашей большевистской работы по идейному воспитанию разросшихся кадров советской интеллигенции.

Пришло время, когда вперед выдвигаются задачи воспитательного характера, задачи коммунистического воспитания трудящихся».

В условиях послевоенного времени этот вопрос приобрел еще большую остроту, а значение работы по коммунистическому воспитанию интеллигенции исключительно возросло.

Вышедшая из народа, «не знающая ярма эксплуатации, ненавидящая эксплуататоров и готовая служить на-

родам СССР верой и правдой» (Сталин), советская интеллигенция восприняла марксизм-ленинизм и получила возможность оказывать рабочим и крестьянам нашей страны руководящую помощь в строительстве коммунистического общества.

Без своей интеллигенции советское государство не могло бы успешно вести хозяйственно-организаторскую и культурно-воспитательную работу, организовать оброну страны.

Особенно почетна и ответственна роль советской интеллигенции в современных условиях, когда весь наш народ по призыву и под руководством великого Сталина самоотверженно борется за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства и культуры, за построение коммунизма в нашей стране.

Наша партия и ее вожди—В. И. Ленин и И. В. Сталин всегда уделяли исключительное внимание воспитанию интеллигенции и требовали этого от всех партийных организаций. С особой силой это было выражено в решении ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 г. «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)». В этом решении говорится, что «задача марксистско-ленинского воспитания советской интеллигенции является одной из самых первоочередных и важнейших задач партии большевиков».

Следуя указаниям ЦК ВКП(б), партийные организации нашей области провели значительную работу по повышению идейно-политического уровня советской интеллигенции. Особенно активно развернулась эта работа после исторических решений ЦК ВКП(б) по вопросам идеологической работы.

Многие учителя, врачи, артисты, инженеры, ученые, советские и партийные работники серьезнее стали самостоятельно работать над вопросами теории, выступать перед населением. В городах Иванове и Шуе работали университеты марксизма-ленинизма, в ряде городов и районов работали лектории, наиболее активными посетителями которых была местная интеллигенция.

В г. Иванове успешно работал специальный лекторий для учителей, в котором за год прочитано около 70 различных лекций. 78 преподавателей учились в вечернем университете марксизма-ленинизма. Многие из них успешно закончили учебу.

Кр 22.255



В г. Шуе работал, правда далеко неудовлетворительно, лекторий для интеллигенции по истории партии, философии и истории СССР.

Лекции для интеллигенции — чаще всего для учителей и врачей — читались во многих районах, но часто бессистемно и нерегулярно.

Широкое распространение в области получили вечера интеллигенции. Наиболее удачно они были организованы в г. Иванове и Ивановском районе.

Однако в большинстве городов и районов, на многих предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях еще нет должной работы по марксистско-ленинскому воспитанию интеллигенции.

Сервезные ошибки были вскрыты областным комитетом партии в преподавании основ марксизма-ленинизма в Ивановском сельскохозяйственном институте, в работе театров Музыкальной комедии и филармонии, в парт-организации областного отдела народного образования, в изучении теории марксизма-ленинизма руководящими кадрами г. Шуи, в постановке политико-воспитательной работы среди населения Ильинского района, где полную свободу действий получили церковники, использовавшие для решения своих вопросов и религиозной пропаганды даже колхозные собрания и открытые богослужения. Причем, интеллигенция Ильинского района не развернула работы по пропаганде естественно-научных знаний. Значительно активизировали свою деятельность церковники в Шуе, Юже и других районах. Наши парторганизации, культпросветотделы и отделы народного образования компанейски, от случая к случаю, главным образом, в связи с юбилейными датами и кампаниями, ведут работу с интеллигенцией, часто не замечают среди отдельных представителей интеллигенции нездоровых настроений, низкопоклонства и раболепия перед иностранщиной и реакционной буржуазной культурой, мало используют в воспитательной работе конкретные факты из жизни и деятельности представителей интеллигенции своего города, района, своей области.

Болтая о преимуществах буржуазной демократии и буржуазного государственного строя, клеветая на советский народ и советское государство, буржуазные теоретики и политики усиленно обманывают трудящихся. Они стремятся затушевать, скрыть от народа глубокие клас-

совые противоречия капиталистического общества, оправдать колониальный гнет и грабеж, скрыть тот факт, что в буржуазном обществе кучка богачей-паразитов сосредоточила в своих руках все богатства, а создатели этих богатств — рабочие не имеют ничего, кроме своих рабочих рук.

Наш народ знает цену буржуазной демократии, при которой одни работают, другие присваивают продукт их труда, при которой небольшая Англия эксплуатирует и подавляет сотни миллионов колониальных рабов, при которой в США свирепому режиму и расовой дискриминации подвергается 13-миллионное негритянское население, при которой на подавление греческого демократического движения из Америки и Англии посылаются не только деньги, оружие и снаряжение, но и войсковые части, при которой большинство населения различными цензами, даже формально, отстранено от участия в политической жизни буржуазного государства и может только мечтать о реальном праве на труд, образование, отдых и материальное обеспечение в старости.

Буржуазия, — как говорил В. И. Ленин, — превратила «образование и науку, высший оплот и высший цвет капиталистической цивилизации, в орудия эксплуатации, в монополию, для того, чтобы громадное большинство людей держать в рабстве» (Ленин, т. XXIII, стр. 486).

Необходимо воспитывать нашу интеллигенцию в духе советского патриотизма, в духе преданности советскому народу, интересам государства, воспитывать в ней несгибаемую волю и характер, готовность любой ценой защищать интересы и честь советского государства.

В то же время сама интеллигенция должна активнее работать над воспитанием всего нашего населения, повышать уровень его культуры и сознательности.

Творческие успехи нашей интеллигенции зависят от уровня ее сознательности, от степени ее идейно-политической закалки. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы значительно улучшить работу по политическому воспитанию всех слоев советской интеллигенции.

В работе по коммунистическому воспитанию народных масс особое внимание должно быть уделено воспитанию их в духе советского патриотизма, поднимающего народ на новые подвиги во имя Родины, в духе сознания, гордости за нашу великую Родину, открывшую в

истории эру социализма, за самый передовой общественный строй, уничтоживший эксплуатацию человека человеком, за наш государственный строй, исключаяющий угнетение одних народов другими. Нужно на повседневных жизненных фактах раскрывать превосходство советской демократии над лживой буржуазной демократией, советской культуры — над разлагающейся буржуазной культурой, нашей социалистической морали над звериной капиталистической моралью.

К сожалению, встречаются еще у нас отдельные люди, особенно отсталые интеллигентики, которые с лакейским подобострастием взирают на все иностранное только потому, что это иностранное. В погоне за дешевой личной популярностью они услужливо готовы напечатать свою работу, прежде всего, в иностранном журнале, идут на национальное самоунижение, теряют чувство собственного достоинства. Подобные интеллигентики в нашей среде, конечно, одиночки, но советский народ не может и не хочет терпеть таких одиночек, представляющих собой хороший материал для вражеской агентуры, пытающейся создать в нашей стране свои опорные пункты для разведки и антисоветской пропаганды.

Вот почему нетерпимы проявления раболепия, безидейности, аморальности, притупление бдительности, благодушие и ротозейство даже со стороны отдельных и самых небольших по занимаемой должности работников.

Мы, советские люди, с полным основанием можем утверждать, что: «...последний советский гражданин, свободный от цепей капитала, стоит головой выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши, влачащего на плечах ярмо капиталистического рабства...» (Сталин).

Для усиления коммунистического воспитания интеллигенции и всех трудящихся у нас имеются все условия. Возобновлено IV издание сочинений Ленина, начато издание сочинений товарища Сталина, массовым тиражом издаются произведения классиков марксизма, вышло второе издание краткой биографии товарища Сталина, перерабатывается и выйдет в свет биография В. И. Ленина.

Сочинения Ленина и Сталина, биографии Ленина и Сталина воспитывают массы в духе коммунизма и советского патриотизма. Биографии Ленина и Сталина, будучи жизнеописаниями гениальных вождей, посвятивших

всю свою жизнь делу коммунизма, интересам народа и советской Родине, имеют огромную воспитательную силу. Они дают трудящимся нашей страны перспективу борьбы за победу коммунизма, вселяют дух бодрости и уверенности в сердца советских людей в борьбе за полную и окончательную победу нашего правого дела.

Работа по коммунистическому воспитанию масс должна быть теснейшим образом связана с нынешними задачами строительства социализма, восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства, укрепления мощи Советской Родины.

Основным методом коммунистического воспитания трудящихся у нас является метод убеждения, но к отдельным, наиболее злостным нарушителям советских законов применяются и меры принуждения — к прогульщикам, лодырям, бракоделам и т. д.

Карая преступников, советское государство в то же время воздействует на массы, способствуя их воспитанию в духе социалистической дисциплины труда.

Советское государство ведет решительную борьбу и со стремлением отдельных лиц пренебречь честным трудом, жить за счет других, «хапнуть где можно», нечестно относиться к общественному добру, — ибо все эти пороки вызывают такие преступления, как кража, хищение социалистической собственности, спекуляция, подлоги — нетерпимые в нашем обществе.

При помощи законов о браке и семье оно борется против пережитков капитализма в быту, которые часто выражаются в недостойном отношении мужа к жене, в отсутствии заботы отца или матери о детях, в легкомысленном отношении супругов к обязанностям, налагаемым браком, в недостойном поведении в личном быту. Советское государство ведет борьбу и против таких пережитков капитализма в быту, как хулиганство, оскорбление личности и тому подобных преступлений.

Законодательство советского государства направлено на искоренение пережитков капитализма в поведении людей. Поэтому необходимо широко разъяснять нашим людям советские законы, правовые устои нашего общества, учить людей, как жить, трудиться и вести себя в условиях советского общества, тем самым предупреждать поступки, порочащие советских граждан, поступки, наказуемые по закону.

Мы располагаем огромными средствами идеологического влияния на массы трудящихся. Печать и устная пропаганда, кино и радио, литература и искусство, наука и образование — все виды культуры служат в нашей стране делу коммунистического воспитания трудящихся.

Только от нашего желания и умения использовать эти богатейшие возможности зависит новый подъем работы по коммунистическому воспитанию советского народа.

Большой силой коммунистического воспитания народа являются кадры советской интеллигенции и в первую очередь партийные и советские кадры, учительство, работники литературы и искусства, инженерно-технические и другие работники. Но с ними надо работать, усилить их идейно-политическое воспитание. Без вооружения наших кадров марксистско-ленинской теорией нельзя добиться полного преодоления пережитков капитализма в сознании людей.

ЦК ВКП(б) требует от всех работников идеологического фронта усиления партийной пропаганды, вооружения в первую очередь руководящих кадров и советской интеллигенции великими идеями Маркса — Ленина — Сталина.

Только вооружив советскую интеллигенцию — кадры всех отраслей партийной и государственной деятельности марксистско-ленинской теорией, смело используя испытанный метод критики и самокритики в работе по воспитанию интеллигенции, мы сможем добиться решительного подъема идеологической и культурной работы, усиления коммунистического воспитания трудящихся, ускорить темпы построения коммунизма в нашей стране.

В. И. Ленин еще в 1918 г. на I Всероссийском съезде работников просвещения заявил, что:

«Трудящиеся тянутся к знанию, потому что оно необходимо им для победы. Девять десятых трудящихся масс поняли, что знание является орудием в их борьбе за освобождение, что их неудачи объясняются недостатком образования и что теперь от них самих зависит сделать просвещение действительно доступным всем».  
(Т. XXIII, стр. 199).

И мы, работники идеологического фронта, должны помочь трудящимся овладеть этими знаниями и прежде всего знаниями основ марксизма-ленинизма, тем самым



мы окажем серьезную помощь рабочим и колхозникам области в решении практических задач, общими усилиями добьемся подъема сознания советского народа для того, чтобы каждый советский гражданин строго соблюдал законы, дисциплину труда, честно относился к общественному долгу, уважал правила социалистического общежития, берег и укреплял социалистическую собственность, сознательно и стойко защищал интересы социалистического отечества. Это будет содействовать еще большему укреплению силы и могущества нашей Великой Родины.

*М. Кочнев*

## **СКАЗЫ ИВАНОВСКИХ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ**

### **НОВАЯ ДОРОЖКА**

Милоч, чай и сам знаешь, перед самой-то великой войной за наше родное советское отечество, что в городах с пригородками, что в наших селах с приселками, какая жизнь-то пришла: молодым на радость, старикам на полюбование! Такой-то жизни мы еще и не видывали. Во всем распорядочек, всего-то стало вдосталь, что на базар придешь, что в кооперативную лавку войдешь — глаза разбегаются. Бери, покупай, чего только душа пожелает. А дороже всего сам человек стал, люди-то цветами зацвели. Тут-то и слепой увидел, и глухой услышал — за кем всей жизни правда. За большевиками она. Только за ними.

Изобилье-то у каждого в окно глядело, желанным гостем сидело за столом в красном углу. Кабы не окажннные фашисты-выродки, теперь бы мы жили, как и во сне не снилось ни дедам, ни прадедам. Никаким бы заморским хвастунам не видать того. Ведь не только наш человек, а и цветок-то каждый на советской земле стал милей и краше. Воздух прозрачней, небо выше, светлее. Птичий-то гомон, соловий-то свисткоток стал куда заманчивей. Парной туман над рекой, будто брага сычеца. Будто солнце-то заново засветилось над нами. Ветер подул ласковее. В поле, в луг пойдешь — сама трава шелкова стелется тебе под ноги.

И в какую сторону ни глянет человек — вся земля своя видна ему: все села, все города, все заводы, фабрики, все колхозы и совхозы. Всеу ты полный хозяин. Никакого над тобой надругательства, запрета. Вольноволюшка любому. Куда сердце зовет, куда оно просят-

ся — и лети в ту сторону. К чему душа твоя лежит — с этим делом и дружись.

Полюс ледяной, край снежный давно ли был неведомо где, а теперь он у нас стал поблизости. Стальное советское крыло и в снега, и во льды жизнь и солнце принесло. Белое-то море с Балтийским стали братьями. Волга-то река потекла с сестрицей Москвой-рекой в обнимочку. Морской пароход с московской волны поклон отдает Кремлю старому. Где пустырь века лежал, да голодный суслик высвистывал, гудки заводские перекличку повели.

Река, буйный Днепр, покорился нам, поклонился нам. Уж он хоть и ревет, прыгает, но не без толку. Мы его-то буйство, силу взяли в крепкие руки. Днем ясным Днепрушко, Богатырь Богатыревич, одной рукой все станки, колеса двигает. На обоих берегах заводов, фабрик больше, чем в бору шишек. И под землю угольщикам он дает силы своей. Ходит, бродит у Днепра Украиновича силушка по жилушкам. А в темную ночь кровь его на тысячи солнц рассыплется, у каждого засветится солнце под потолком.

Все-то скажешь ли? Но откуда, с какой стороны пришло к нам это счастье? Пришло оно потому, что непочатый родник найден был. Да не один такой родник, а несметны тысячи, братец. Не из-под алмазных гор бьют эти родники. У нас на земле стало так, что каждый человек — непочатый родник.

Было это в Иванове городе, а может и в Шуе, но скорее всего в Кинешме. Тоже город не плох. Кабы плох был, так не пели бы:

Если Кинешма — не город,  
То и Волга — не река.

Хорош город. Смотрится он с крутого берега в Волгу. Умывается он чистой росой. Красив, зря не охайшь. Мимо светлых фабрик ткацких катятся волны. Слышно им, как поют веретена. Слышно, как стучат батаны, как бегают челноки.

Однава, братец, в счастливый час, на одну нашу ткацкую, на «Красную Волжанку» пришла ткачиха молодая, Таня. Ну, раз годами молода — и в работе не велик опыт. Только из фабричной школы. Но что походочка у нее, что глаза карие с лукавиной — как быть тому следует, весь манер наш волжский. За учење-то

почетной грамотой жалована. А в работе-то сразу показала свой норов.

Ткацкая-то для нее как дом родной. И вечно, вишь ты, все она с шуткой, с прибауткой. Кажись, она и ходить не умеет шагом-то, все вприскоч, да впритруску. Конечно, не от озорства, от хорошего характера, от удачной жизни, а больше от избытка сил. Молодость — не былинка на меже, мимолетный ветерок не наклонит ее. С двух-то станков, полгода спустя, запросилась она на четыре. Тут-то и загорелся сыр бор. Не дают ей четыре станка. Да и как ты дашь? Ведь не управится, мо-лода.

А она: мол, четыре-то это что, у меня есть мечта работать на шести станках, а дальше — там видно будет. Нифонт Перфильич, ее-то начальник, мастер-инженер, человек в летах, большого ученья, услышал, подумал про себя: не ума ли рехнулась девица. Каждый винтик, каждый камушек на своей фабрике он знал. Не мало доброго сделал для своей фабрики. Дома-то у него книг по стенам на полках от потолка и до полу. По книгам каждое дело у него выверено да проверено сто раз с разом.

Нифонт Перфильич Таню и слушать не хочет. Она в контору. Там ее выслушали по-хорошему. Ладно, мол, мы вот посоветуемся с Нифонтом Перфильичем, ему видней, мастер, у него каждое дело с книгой в согласи. А Нифонт Перфильич одним был плох: не любил он до смерти, когда кто-нибудь встречал в его дело. Какой там у него был разговор у директора, не знаю. Но вышел он из конторы красен, как рак, и недоволен.

В этот день, как раз, прибежала Таня раньше за полчаса, чтобы не торопясь принять свое гнездо от сменщицы. Обихаживает она станки, сама заливается песенкой. Нифонт Перфильич идет мимо. Не весел он. Остановился.

— Песенница Клязьмина, сколько тебе лет отроду?

— Я счастливая, Октябрю ровесница.

— То-то и есть. Ты свою затею брось. Мало ли ты чего захочешь. Против всякого такого хотенья есть ученье. А ученье нам ясно указывает, что выше себя не прыгнешь.

— Ты послушай меня, выслушай, Нифонт Перфильич, как все я обдумала, — начала было Таня.

— Ну, милая, ты забыла что ль? Яйца курицу не учат. Тоже мне нашлись указчики, — замахал старик обеими руками, словно жалили его осы. А потом ругаться стал: — из какой такой академии ты явилась сюда?

— После семилетки ФЗО прошла, а теперь вечерами хожу в нашу школу при фабрике, по вашим книжкам учусь, — Таня зарделась алой вишенкой.

— А что твое ФЗО? Это букварь! И только! Ты под стол еще пешком не ходила, а я уже императорский университет прошел, да за границу ездил. Машина — не резина. От машины не возьмешь больше, чем она может дать. Да и у тебя не двадцать рук, а две, и глаз не сотня. Есть предел и выше его никогда не шагнешь, а ты подняла звон! А на что он? Жалуешься, что тебе не помогают. Чем же тебе я могу помочь?

Не ждала, не чаяла Таня такой обиды, такого холодного прискорбья. Будто пол зашатался под ногами, будто закачались стены. Все заволокло туманом перед глазами. Будто и перед подружками Таня виновата, зря обругана. Подруги все ей присоветывали: брось, моя, ты все, Нифонт Перфильич больше знает.

Ужели все это мне только в мечте мерещится, ужели все это не сбудется? И так подумает Таня, и по-другому она прикинет. Ведь Нифонт Перфильич на этой ткацкой жизнь прожил? Душу машин он знает, чай, лучше всех. Уж в явь не напрасно ли я своей мечтой затуманила себе голову? Может, и мне жить, как другие: тихо, мирно, как трава растет?

Мечты, — а с ними и ночи бессонные. Советовалась Таня с подругами. Не нашла себе ответа. По берегу одна задумчиво ходила. Не нашла себе ответа. С кем же теперь еще посоветоваться? Старая старина, была про Волжанку-Служанку пришла ей на ум. Пролетела бы ты, Волжанка-Служанка белой чайкой над волной, уронила бы ты не крыло, а только одно перышко, одно белое. Да, братец, написала бы она на том перышке свою душу, а уж послать-то бы знала куда и кому. Много, вишь ты, вьется чаек над Волгой, качается на синей волне. Да все не те. Вот пришла забота, кручина.

Уж брезжить начнет, ну, тут только и закроет Таня книгу. Хочется найти в книге отгадку на свои мысли.

А книга Нифонтом Перфильевичем писана. Только голову в беде не вешала Таня. Горько, полынно порой на сердце, да про то знает лишь она одна. На гулянке веселья нет.

Еще ходила Таня в летный клуб. Мечтала она о том, чтобы позавидовали ей чайки волжские, когда приведется с ними встретиться в лазури небес.

Вот однажды, в ясный день, полетела Таня на широких крыльях. Облака летучие у нее под ногами. Крылья навстречу солнцу летят. Синь слепит глаза. На земле-то зной, марево, а около стального крыла — мороз.

С высоты непостижимой бросалась Таня с крыла. Облака не мешали ей. Земля летит навстречу быстрее молнии. И то Тани полчаса лететь до земли! Волнуются, ждут ее подружки на лугу.

Но уж много минуло времени. Не видать ничего в подоблачье. Хоть бы пятнышко с ласточку! Налегел верховой ураган той порой, засвистал в подоблачье. Под облаками, наконец, вспыхнули купола, зонты шелковы. Ну, опустились те зонты на поле. А поле-то двадцать верст окрест. А Тани нет как нет. Ждали ее до поздней вечера. Не явилась Таня.

Куда улетела, где запропала? Вести подали, искали, не убилась ли в лесу, не в реке ли где, не в озере ли? Нет Тани.

О полудни другого дня прибежала Таня, веселешенька, и принесла невредимы шелковы крылья. Еще принесла она, братец, в глазах из поднебесья солнечные искорки. До того их не видывали у нее в глазах. Радостна, восторженна, будто была она в гостях у солнца. Кажется, в тот день и радостью обделила бы всех и самой бы осталось вдосталь.

Где она была, что видела, — удивила подруг немало. Вот сели они у забора на травке после обеда, и ни к чему им, что по ту сторону забора сидит Нифонт Перфильич, газетка у него в руках. Через забор-то все слышно. Почитывает, видишь ли, а сам слушает краем уха. Даже любопытно: мол, что им там больно весело, о чем-де Таня рассказывает с захлѐбом?

А там вот какой шел разговор:

— Все прыгнули на седьмой версте, на большой высоте. А мне захотелось взлететь еще повыше, еще поближе к солнцу. На двенадцатой версте, на морозной

высоте, нырнула я с крыла. Ох, и ныряла же я в воздухе! Обнималась с облаками, целовалась с ветром. Улыбалась солнцу. Обгоняла стрижей, ласточек. В глазах у них зависть к людям! Взялась я за колечко. Поплыла по волнам. Парашют плывет, не спускается. Буря подхватила, еще выше меня забросила. Принесла я с собой радость, что и не высказать. С высоты я видела золотые купола, да еще дорожку кремлевскую, выстлана она белым камнем, видела, кто проходил той дорожкой. Обомлело сердце от счастья! Вот кому бы я поведала свое желанье. А ураган несет меня все выше, все дальше. Ой, шелковы шнурки, не оборвитесь. Упала я, тихо приспустилась на волну. На дне бы мне быть. Глядь, совсем рядышком со мной чайка на волне. Перо белей снега. Крылья—такая ширина! Всплеснула она крыльями, словно скатный жемчуг брызги надо мной. В брызгах радуга. Вместо зыбкой волны под ногой — земля. И уже не чайка со мной рядом, а девушка. Назвалась Удачей Ясноглазой. И прямо расчудесница. Тоже Октябрю ровесница. Вот спасибо ей! Силы, бодрости уступила мне. Дала секретец такой интересный. Предсказала, что старый старикан Нифонт Перфильич примет мое пожеланье! Будет по-моему, а не по его.

Тут как крякнет за забором селезнем кряковым Нифонт Перфильич. Молодые ткачихи прыснули от забора. А Нифонт ворчит:

— Да, так и приду к тебе. Я человек чистой науки, а ты человек чистой фантазии!

Опять та же морока. Сколь ни бьется Таня, мешают ее мечте. А больше всех Нифонт. Таня к нему, а он, как раскрыл, ровно кудесник, свои книги и пошел, пошел катать по-ученому. От мечты Нифонт не оставил камушка на камушке. И не думай, мол, ты неотвязчивая девчонка, встать против моей науки.

Не от дождя, не от росы в ту ночь, а от слез была влажна подушка под щекой у Тани. Сил и желанья у нее с избытком, а такого простора, как в синем небе, не дают ей здесь. Пришла к станкам невеселая. Старая ткачиха Савельевна остра на язык:

— По-моему, Таня, одну науку хвали, а другую подалее от себя вали. Так ли я говорю? Другой, как я погляжу, упрется в свое корытце и так науки этой надышется, что под старость станет ни к кафтану пола,

ни к рубашке ластовка. Так ли? А ты тайком вписала бы Нифонту в его расчеты свою новую дорожку. Вон про тебя говорят: за тебя есть какая-то заступница, Удача Ясноглазая.

А Нифонт рядом стоит, слушает. Охватила его еще хуже обида и волнение. Ни на кого и глядеть не хочет. А уж кой-кто и понес этот новый аттестат: ни к кафтану пола, ни к рубашке ластовка.

Вот он, снова, в вечернюю смену сидит у себя в отделе, в просторной комнате. Сидит да ус седой крутит. Вспомнил, что Таня говорила, что после того, как на нее побрызгала водой чайка, она куда хочешь пройдет. Однако на губах у Нифонта усмешка, мол, ко мне не больно пройдешь, если не захочу видеть тебя. Подошел он, чтобы повернуть ключ в двери. Да что-то задумался крепко у двери. Возмущается: девчонка против всей его науки пошла. А наука-то десять раз старше ее.

Не стучало, не гремело, будто сама отворилась дверь, перед ним у стола, перед глазами Таня Клязьмина.

— Нифонт Перфильич, я все сосчитала, я сначала одна...

А Нифонт Перфильич глаза протирает:

— Постой, постой, я, кажись, дверь на ключ?.. Откуда ты?

— Передо мной теперь все двери сами отворятся, — отвечает Таня.

Ой, обиделся Нифонт Перфильич.

— Выше головы уши не растут, выше солнца облака не плавают. Я давно все подсчитал, высчитал, открывай чи угодно двери, но только не мои.

И выпроводил ее. Таня за порог, а он запасной дверью да в другую комнату, в дальний угол, сюда кроме Нифонта никто не заходил. На двери дощечка: «Кому здесь дела нет, тем сюда ход воспрещается». Только книгу раскрыл, а Таня опять перед ним у стола.

— Нифонт Перфильич, ведь весь мой секрет в дорожке моей новой, только выслушайте, к вашим-то подсчетам да прибавить бы...

Таня ему свой подсчет кладет под нос. А он ничего не видит и слышать не хочет.

— Оставь ты меня в покое, а сама лучше поучись



Да скорее с глаз долой, к себе домой. Но где тонко, там и рвется, а Таня заметила тонкое звеньшко. А пришло так, что если медлить, значит дела не избыть. Надо ковать железо, пока оно горячо. Таня-то сердцем поняла: где есть воля — там и путь. Не зря ей мать ткачиха говаривала: терпенье да труд все перетрут.

Это дело было после дождичка в четверг. А веранда у Нифонта Перфильича спустилась ступенями прямо в кусты. Под кустами скамья. Любимое место отдыха после работы. Сидит Нифонт Перфильич под кустами, на скамье, в руках книга. Сам думает, Таню журит: уж я, мол, выведешь ты меня из терпенья, покажу тебе новую дорожку, пойдешь за шерстью, а вернешься стриженной. Чтобы не было тебя в моем цеху. С глаз долой — из сердца вон. Так раскипятился, хоть на ледник его носи. Оглянулся, повернулся, а Таня на скамье рядом с ним... И книжку, что писал Нифонт Перфильич, держит подмышкой.

— Да, господи, что это: куда пень — туда и тень... Кто тебе сказал, что я здесь, Удача что ли?

У самого плетью рука, а в глазах тоска. Вот, дескать, не было печали, черти накачали. И книгу уронил. Таня подняла ее, бережно пыль с нее сдунула.

Таня к нему: мол, ум хорошо, а два лучше, вы гляньте, выслушайте, разберитесь во всем по порядку. А он свое твердит:

— Много разбирать и этого не видать.

Может, гордится старик, а может упрямится.

— Ты, барышня, в своем уме? Мне веришь или куме?

— Вам верю. Ведь не зря говорят: старый конь борозды не испортит.

— А раз так, то не забудь: глупая голова ногам покоя не дает.

Но не обиделась Таня. Говорит: не мешала бы, мол, вам, да сама над собой не властна. Сама в себя поверила. А без веры порог не переступишь. А поверила бесповоротно, когда встретилась в лазури с Удачей Ясноглазой, с умной сестрицей, шелковой косицей. Когда гуляла с ней по берегу, слушала ее умные речи. Поняла она мечту, подарила не золото, не клад, а такую дорогую вещицу, а на ней сверху писано: дело мастера бонится.

Да так подступила Таня к Нифонту Перфильичу, что бежать ему больше некуда. Ну, прямо взмолился он:

— Науку хотите опрокинуть? Не плюйте в колодец, напиток придется.

Закричал на весь сад, знать дурно стало и веки смежил. Открыл глаза, а уж никого рядом с ним нет. Места себе не находит. За живое задела старое сердце мечта танина.

Молочный туман пополз в поймы и низины, на Волге лунную дорожку расстелил вечер. Прогуляться, продышаться вышел Нифонт Перфильич на берег, в тихое место. Но над берегом петляет тропинка между кустами. Слышит — на воде плеск. Не лебедицы плавают, купаются подруги.

— Удача, где ты? — голос Тани.

— Нырять сюда! — с середины реки отзывается Удача.

Тихо. Лунно. Слушает Нифонт Перфильич, качает головой. С кем же это она? На берег выбежали девушки, выжимают тяжелые косы. Разговаривают между собой:

— Не сходить ли мне с тобой, Таня, вместе к этому упрямому Нифонту Перфильевичу? Сделаем по-нашему!

Рядом заговорила гармоника. Подхватив одежду, лукнули купальщицы в кусты.

Знать от расстройства занедужил Нифонт Перфильич. Вот как ночью на берег ходить. Может от росы, а может попали на него брызги с девичьей косы.

Как-то раз по скорости одна соседка не пришла на смену. А заменить некем. А станки-то ее рядом со станками Тани. И говорит Таня бригадиру Савельевне:

— Савельевна, ты партийная, посоветуй, не выгонит меня Нифонт Перфильич, если я еще подружкины станки прибавлю к своим?

— Давай, давай, благо желанье есть, не выгонит, чай, фабрика-то не Разоренова купца. Тори новую дорожку.

Одобрила Савельевна. Вот тут у Тани екнуло сердечко. Не сконфузиться бы перед всеми. Раз взялся за гуж — не говори, что не дюж. А Савельевна во всем ей на поддержку: мол, волков бояться — в лес не ходить. Не боги горшки-то обжигают. Первое-то слово науки, нередко случается, простые люди начинают.

Встала Таня за четыре станка. Отработала смену так-то картинно, будто песню спела. А песенница она была — еще такую-то поискать. Четыре станка управляла на полюбование старым ткачам, подругам на поученье. А утром Таня прямо к начальнику цеха вместе с Савельевной. Ставь меня на четыре станка. Удача-то сама не придет, ее работа за руку на поклон приведет.

Там подумали: что же, становись, только, мол, не сказала — крепись, сказала — за слово держись. Кур не насмешь, больно-то не спеши. Тут у Тани стала каждая секунда на строгом учете, в большом почете. Не мила ей теперь старая проторенная другими около станков стежка. Нужна ей теперь новая дорожка, свой маршрут. От станка до станка не столь далеко, как от Архангельска до Астрахани, но этот коротенький путь тоже надо с умом пройти, по-новому, по-своему, а то получится — сорока трещала да из-за языка своего и пропала.

Умела Таня так мимо станков пройти — за единый раз сделать пять дел. Не любила она откладывать на завтра, что можно сделать сегодня. Уж лишнего шага она не ступит, а когда работает, глянуть на нее любодорого, хоть на сцену, на показ. Ни одного лишнего движеньица. Новую свою дорожку она запомнила. Только ею и ходила. По камню, не по снегу, — где ступил, не видно. Но Таня свою стежку-дорожку, заслепясь, видела и на камне. Уж разве только тогда отступит со своей стези, когда станок разладится.

Молодой мастер Павлуша с пребольшей любезностью ухаживал за ее станками. Знать, недаром Таня встретилась с Удачей Ясноглазой. Не зря про нее рассказывала она своим подругам. Знать, Удача открыла перед ней большие секреты, тайности. А еще и то, друг, не забудь: Таня знала, помнила, что у нас в стране всяк хороший труженик в большой цене. У нас пустобайство не в почете, судят человека не по словам, по его работе.

На четырех станках она ткала, словно подружек в хоровод звала, так картинно и приветливо. И все подружки, глядя на нее, ее огнем возгорелись. Если одна ласточка высоко летит, и другая к ней воспарит. А уж Таня о восьми станках стала мечтать, и за восемь можно встать. Смекалки, расторопности не занимать.

А тут хватать — похватать приходит сам Нифонт Перфильич, как услышал, как увидел, все сначала, зная, подумал: или я не я, или глаза и уши не мои? Не верит, мол, все это одна морока. А Савельевна ему; дескать, лиха беда — начало, а там пойдет. Пожар-то принимается от одной соломинки. Так и в нашем деле.

— Да что вы меня морочите! Нормы не знаете? Если плотный сорт такой-то номер, уж ты хоть на голове ходи, а все равно столько-то обрывов на метр и больше положенных метров не снимешь за смену. На таком сорте и станков не обслужить больше там двух или трех.

Обещает не на словах доказать — на деле. Или, мол, пришла пора все мои таблички в печке сжечь, или пустая ваша речь. Но тут не речь, а само живое дело перед ним. Был крик в конторе, был шум в фабричном комитете, в комсомоле были горячие разговоры, тут и Савельевна крепко взялась против Нифонта, мол, время на время не приходит, чай не таблица раньше человека на свет приходит, человек таблицу писал, а теперь пришла пора и табличка старая не нужна.

Таня собралась за шесть станков становиться. А тут — бац! — велит Нифонт Перфильич Тане собираться в другой корпус. Зачем-то понадобилось в этом корпусе передвигать станки. Приходится Тане прощаться со своей «пятеркой». Она уж на «пятерке» ткала. А к своим станкам она привыкла. Все в них слажено. Всегда они у нее в чистоте, обихожены.

Зашемило, заекало сердце у Танюши. В том новом корпусе она никогда не работала. Новый-то станок, как человек незнакомый. К новому станку не сразу приновишься, не сразу его душу поймешь. Вдруг да новые станки будут хуже своих? К своим станкам она бежала на смену, как к подружкам, с веселой душой. По шуму, по стуку сразу узнавала, где разладочка, где неполадочка. На новом месте вдруг да не заладится. А там и пойдет. Горе да беда не ходит одна. Тогда хоть с ткацкой беги, всяк скажет: горячо взялась, да скоро остыла. Не из обиды ли подстроил все это ей Нифонт Перфильич?

Сколько тучек да кудрявых облачков проплыло в эту ночь над Волгой, столько дум тревожных передума-

ла Таня. Приходила она на совет к Савельевне. Другую ночь в уединении сидела она на берегу под обрывом. Не одна сидела, была с ней Удача Ясноглазая. Часто-плетная коса струилась с плеч, на коленях у нее лежала книжечка, а буквы на ней горели огнем. Внизу плескалась Волга.

Удача все ту книжечку читала Тане, что в ней сказано. Успех в работе обещала. Говорила, что сама придет к Тане, если никто не поддержит ее.

Встала Таня в новом цеху за новые станки. Чуть не плакала, когда шла из цеху после смены. Станки-то новые, не налажены. На шести-то соткала не больше, чем на четырех. Да и сотканному не рада. То обрыв, то недосек, то подплетина. Навстречу Нифонт Перфильич:

— Ну, что, правду я говорил? — и смеется.

Савельевна про то узнала, ой, горячо она принялась сучить Нифонта, мол, не до хахонек теперь, надо выручить девицу-то, поглядеть, может, станки не налажены. Нифонт и слушать не хочет, дескать, никогда первая ласточка весны не делает, а одна ткачиха нормы не опрокинет.

Савельевна всех на ткацкой расканифолила, всех расшевелила, подняла на ноги. Пришли к станкам таниным, посмотрели, починили. На вторую смену дела не лучше у Тани. Опять пришли те же люди косные. Поправили. Стала Таня ткать: что чинили, что нет. На третью смену стоит она, пригорюнившись, у своей шестерки, свету белому не рада. Идет Нифонт Перфильич, такой улыбочатый. Положил он отечески руку на ее плечо, увещать стал.

— Ну, теперь видишь, милая, кто прав: ты или я? То-то и оно. Норма — она крепче норова. Ведь я уж знаю. Я ведь все подсчитал. Ты знаешь, как однажды синица хвалилась, что она хочет море сжечь. Вот и ты также.

Эту ночь и на минуту не сомкнула очей Таня. Сидела у окна открытого наедине со своей мечтой—думой. Эх, вот сейчас бы крылья-то ей те шелковы. Опустить-ся бы на ту дорожку белую, кремневую. Уж там-то знала бы она, с кем посоветоваться. Что еще ей думалось, никто не знает.

Пришла утром, станки ее по три в ряд стоят. Но как, и сама не знает Таня, потеряла она свою новую

дорожку. Пройдет она и прежней дорожкой, но нет ей удачи. Тут ведет Савельевна молодого умного мастера из старого корпуса, расторопного Павлушу. Как доктор около хворого, ходил он около каждого станка. Пустила Таня станки, сразу стало полегче у нее на сердце. Голова-то у станков уже совсем не те. Пошла работа в этот день на удачу.

Танины станки по три в ряд. А рядом еще два станка. Выпросила Таня, чтобы отдали ей и эти станки. Обещала управиться. И не обманула. Лиха беда — начало. Уж многие на ткацкой перешли на новую дорожку, которую проложила впервые у своих станков Таня Клязьмина.

В свои силы Таня верила. Уж за двенадцать станков она встала. Нифонт Перфильич пророчит ей неудачу, пугает наукой. Прошло сколько-то времени, а уж Таня велит дать ей под руку шестнадцать станков. Дали. А станки опять не отрегулированы. Стало заедать, а уж Таня теперь сама многое понимает, видит, где разладка. Мол, надо на ее станки поставить челночные коробки побольше. Поставили.

Первый раз в жизни сразилась Таня с Нифонтом. Свой маршрут на свой лад. Показывала мастерам свой маршрут, как надо расставить станки, чтобы с любого места маршрута был виден каждый станок. Такая беспоконная ткачиха. Ну, переставили, теперь, мол, навсегда, а она говорит: а там видно будет. В технической школе любопытней ее никого не найдешь.

Выведала до тонкости все тайны станка. У нее теперь и манера своя, свое обхождение. Скажем, пустит она станки, вдруг остановился один, но уж Таня к нему не воротится, пока другие станки не обходит, чтобы из-за одного станка другие не стояли зря.

Знать Удача Ясноглазая показывала Тани новый маршрут. Полетела слава о Танином маршруте по всем фабрикам. Вскоре и в других городах узнали про Таню. Девушки все хотят угнаться за ней, а уж Таня теперь прикидывает: нельзя ли ее маршрут сделать еще лучше, побольше станков обслужить. Куда Таня ни пойдет, везде ей почет и слава. Лучшие слова про нее, хорошие песни.

Нифонт Перфильич смотрит в свои таблицы, затылок трет ладонью, ничего не понимает. Прибирает:

— Что же это: выходит я всю жизнь дальше своего носа не видел? Нет, я еще докажу.

И опять он за свои таблички старые.

..Был день большой народной радости. С разных концов государства спешили, ехали в Москву сталевары, ткачи, горняки, плотники, все самые лучшие в советском государстве работники. Люди разных наречий, разных обычаев. И Таня Клязьмина, как почетный гость, как умный собеседник была тоже звана сюда. Здесь людям, братец, было что сказать хорошенького.

Одни возглашают:

— Мы горный кряж с места сдвинули!

— А у нас во льдах виноград созрел!

А третьи говорят:

— Где топь была, где вчера шумел непролазный лес, ныне трубы заводские поднялись чуть не до небес.

Слава тем, кто трудом своим вершит чудеса. Но во сто крат слава тому, кто верной ленинской дорогой ведет нас всех к небывалому счастью.

..Из-под тяжелых алых знамен вышел навстречу всем сам товарищ Сталин. Не бурные водопады хлынули с высоких гор, не стая лебедей всхлопнула крыльями, вся земля услышала, как встречали люди рабочие его от всей чистой души. Он самый великий на земле, самый близкий всем. А мы все его верные друзья, в его великом деле надежные помощники. Всех он встречал, приветствовал. Как руки пожимал — все-то чувствовали тепло ленинское. Как приветливо глянул на всех — все увидели в его очах свет, сиянье глаз ленинских. Когда речь говорил, — все услышали силу мыслей ленинских, всю любовь к народу, всю заботу ленинскую, а когда о наших планах и путях стал рассказывать — все в словах его слышали свои лучшие думы, чаяния. Будто всю землю он нашу обошел, с каждым поговорил, посоветовался.

Все близко с товарищем Сталиным садились, по обеим сторонам: сталевары, горняки, ткачи, плотники, каменщики.

За тем красным столом рядом с верными соратниками, лучшими сынами советской земли, сидела, как их равная сестра, Таня Клязьмина. Все слова она слушала с волнением. Просили Таню свое слово сказать с той высокой славной трибуны. С той трибуны сам товарищ

Сталин выступал. Разве скажешь, как шла она к трибуне. Становилась на то место, где стоял товарищ Сталин. Как отец родной обогрел он ее своим взглядом.

Только высказать ли девушке всю гордость, радость, за себя, за своих подруг, за всех людей? Нашей молодости расти, цвести никем не заказано в нашей стране.

— Скажу вам, дорогие товарищи, поведаю вам, что у вас, что у нас жизнь давно идет не по-старому, не по-прежнему, по-новому, по-хорошему, по-советскому. Спасибо вам, товарищи, что вы горы сдвинули, что во льдах вырастили виноград. А мы, ткачи, весь наш народ в нарядные ткани оденем, каких нигде нет. Стары-то тропинки все исхожены, по ним ходить не велик труд, не велика и честь. Новы пути неизведаны, ходить по ним нелегко. В первый раз я сама новым маршрутом шла не без опаски. Да недаром шла — свое счастье нашла. За мной пошли тысячи. Не хаживать бы мне той почетной дорожкой, не знать бы и чести большой, если бы не солнышко над моей головой. Не у батюшки, не у ма-тушки училась я пролагать новые пути. Указал мне их товарищ Сталин.

Поделилась Таня также и сомнениями своими.

— Одного в толк не возьму, всех я своей работой уверила, не могу уверить одного Нифонта Перфильича, ворчит на меня, что перепутала я ему все старинные таблички. А табличкам-то его может — сто лет в обед. А ведь жизнь-то не камень, на одном месте не лежит, а все вперед бежит.

За высоким столом слова ее приветствовали аплодисментами. Добрый голос из-за того высокого стола услышала Таня: что, мол, есть еще такие люди, про которых не зря говорят: пока гром не грянет — ленивый не перекрестится. Такой человек, кто бы он ни был, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан. Нет, Таня, ты не спутала дела, а фонарь перед ним зажгла. Та табличка хороша, которая освещает путь нам в работе. А та, которая устарела и стала мешать, она не стоит ни гроша.

Словно ветер зашелестел в цветах, прокатился смех добрый по всем рядам.

Говорила Таня Клязьмина:

— А и что теперь дороже всего на земле? Все капиталы ценим мы не по-старому. На прежнюю-то мерочку



нас ныне не мерь. Где есть воля, там есть и путь. Вот что дорого нам. Добрая слава лучше богатства.

... Солнечная минута эта навсегда в сердце у молодой ткачихи осталась. Торопилась она на фабрику, скорее подруг повидать, всю свою радость рассказать. Встретиться с Удачей Ясноглазой. А Нифонт Перфильич все над табличкой своей сидит. До того нагляделся, что вся цифирь перед ним запрыгала, заплясала, повела хоровод. И цифири в его табличке стало и тесно и скучно, рвется на простор.

Все на ткацкой ждут Таню. Глянул Нифонт Перфильич к двери, а перед ним ясноглазая девица, шелковая косица с охапкой цветов.

— Постой, кто ты есть? Как зовут тебя?

— Зовут Удачей, живу не плачу. Я пришла Таню Клязьмину встречать, ваши таблички исправлять...

И таблички посыпались на пол, но тут и вбегает Таня Клязьмина. Бросилась она на шею Удаче, не помня себя от радости, а Нифонт Перфильич таблички не собрал, убежал в дальнюю комнату.

— Здравствуй, милая Удачушка моя, не пропала работа твоя. Ты меня выручила в трудную минуту, а вот эта книга меня светлой жизни выучила.

Поцеловала она дорогую книгу, всегдашнюю ее спутницу.

— Ты, Удачушка, как Волжанка-Служанка с глубокого дна, а теперь ты навсегда стала мне сестра родна. Пойдем Нифонта Перфильича не мало удивим, порадуем.

Прибежали они к Нифонту Перфильичу, а он сидит, да такой странный. Таня ему, чтобы зря-то не расстраивался:

— Это моя подруга, она земная, не водяная и не из подоблачья, хотя вместе с ней за облака летали много раз. Это Надя Удачина. А мы ее все Удачей зовем. Из обкома комсомола она.

Не через день, не через два, но как ни дулся, а сам пришел к Тане Нифонт Перфильич и с благодарностью, с усмешкой говорит:

— Не Магомет к горе, так гора к Магомету... Не зря это сказано: искру туши до пожара, напасть отводи до удара. Но этот пожар не потушить и сгорит сам, кто его тушить вздумает. Я понимаю все. Потому его не

потушить: загорелся он не от свечи, а от народного сердца. Был у меня, Таня, на сердце ледок, но растаял. Быть по-твоему, и по-моему, давай писать таблицу заново.

А повинную голову и меч не сечет. С радостью Таня отозвалась, не погордилась, ее золотая крупница труда всей советской стране пригодилась.

Опять в погожий день, на стальном крыле Таня и Удача с шелковыми крыльями за плечами полетели в гости к солнцу, в синь, в лазурь. Вся земля под их крыльями. Не новые ли пути-дороги полетели они разведывать? С высоты-то далеко видно!

### ГУДОК НА ЗАРЕ

Кто сочтет, кто скажет — сколько лучей у солнышка?

Кто сочтет, кто скажет — сколько травинок в поле?

Кто сочтет, кто скажет — сколько зерен наливаются в урожайный год.

Кто сочтет, кто скажет — сколько кирпичей в стены нашей Москвы положено?

Нет такого счета и не было.

Но побольше того, братец, было светлых дум у Ленина. Имя Ленина у каждого в душе и в песню обратилось, залучилось солнцем.

Скажем вот про ту же Марфу Власьевну Мотовилову, — почтенней ее ткачихи нет. И поныне она живет, здравствует. Тридцать годов на одной ткацкой отработала. А что скажет она, так всегда кстати. До революции не знала Власьевна азбуки, но у нее наши подпольщики находили приют. Одно время и «Трифоныч» останавливался у нее в лачужке. Кто он такой, во всей полноте она и не ведала до самой революции. А про Ленина он ей много рассказывал.

Доброй она души человек, Власьевна: за чужой щекой зуб болит, а для нее чужая боль больнее своей. Разруха-то, голодовка в ту войну с метлой пришла, мести почала. Подкосил Марфу Власьевну тиф. Из больницы выписалась, побрела на ткацкую, а на воротах замок. Остановилась ткацкая. Куда деваться?

Была у Власьевны в деревне дальняя родня, где-то далеко в хлебной стороне. Поехала она туда поправиться малость. Там и задержалась.

Да не зря говорится: всяк кулик на своем болоте велик. Среди звона и ткацкого шума у ткача веселей дума, нежели под шопот дубравушки. Как стало над родной землей небо почище, как порох-дым советским ветром разогнало, затосковала Власьева. Ни черемуха за вином, ни ситник с тмином не веселит, не радуется ее души. Ей и мед вполсыта, и сон на душистом сене в полусон и вольный воздух на поле вполдыха.

Заря-зоряница, красная девица, умываться ходила, слезы на лугу обронила. На ранней заре пошла Власьева с коромыслом на студеной родник, на круту гору по воду.

В полях брызнули всходы дружные, плотные, как щетка. Роса на всходах, как жемчуг, горит. Той чистой росой земля умывается, полотенцем розовым, что зорька выткала, утирается. Первый ранний жаворонок в лазури голубой, как колокольчик под дугой. На долине пастух к солнцу вскинул свирель:

Не будите молоду

Раным рано поутру.

Хорошо-то как, вольготно, как дышется легко. Каждая букашка и травинка славит солнце. Ведра с краями Власьева наполнила, призадумалась. А чутка она была, как лесная птица. Слышит, послышит... Уж не снится ли? Уж не мерещится ли все от думы неотступной? Да нет, это не сон.

Чу, гудит, зовет где-то, чай, за тысячу верст знакомый родной голос. Не тур на горах, не лось во лесах, не паровоз железный перед станцией у зеленого фонаря, и не морской пароход перед пристанью. Это гудит, скликает на неглубокой реке Уводи над ткацкой гудок. Народ к труду пробуждает. А гудок-то родной—бархатный бас грудной. Своего птенца, завяжи ей глаза, отличит орлица по голосу из тысячи. И свой гудок рабочий услышит из-за тысячи верст.

Как призывно он пел на заре, весело! Раскатывался его голос от моря до моря, летело эхо через Кавказский хребет, через Уральский кряж. Заря-то всеми лучами вспыхнула у ткачихи в глазах. Ставила она

наземь ведра, клала коромысло на траву. Вся душа ее вострепнулась.

— По чистому голосу слышу, это наша красавица гудет, не меня ли, матушка, на свое место зовет.

Побывал гость такой, у хозяйшки унес покой. Затосковала с той зари Власьевна пуще прежнего. Выйдет к клуне поутру, все и смотрит, и смотрит от плетня в сизый туман, в рабочую сторонку. Или облака это вскурчавились там, или дым всклубился над ткацкой? На тучку легкую глянет, кажется ей, что и тучка плывет, торопится в ту сторону. Сердце у ткачихи еще пуще затокает. И в деревне налаживается не плоха жизнь, да не прикажешь сердцу-то.

Есть и в других городах поближе заводы и фабрики, но своя-то ткацкая лучше всех.

Долго не раздумывала Власьевна: собралась, поехала она в Иваново. А первые-то годы трудно было устроиться на работу. Еще не на всех фабриках загудели гудки. Приходилось на бирже очереди ждать.

По дороге-то в Иваново заехала Власьевна в Москву, так поезд шел. Повстречала в Москве старую приятельницу, тоже ткачиху. Разговорились про жительство. А приятельница ей: мол, не поторопилась ли ты, Власьевна, не зря ли едешь, скоро места не найдешь. Да так говорит, — хоть обратно в деревню поворачивай. Вишь ты, братец, какой грех! Но Власьевна голову не повесила, ответила:

— Когда птица из-за моря в наш край летит, туман ей путь застит, ветер ей встречу бьет, пугает ее морская волна. Но летит и летит птица, и прилетает. Трудненько ей, не скажешь, да ведь без труда-то ничего не делается.

И надумала Власьевна сходить в Москве к Михаилу Васильевичу Фрунзе, не столько о своей заботе поговорить, больно уж хотелось ей увидеть его. Да поди, чай, уж забыл, как она его капустой квашеной когда-то кормила, как прятала, укрывала его в потайном месте от полиции. Пошла наша Власьевна. Язык до Киева доведет. Долго ли, скоро ли, только разыскала. Бознат, признает ли?

Вот вошла она степенно, низко поклонилась.

— Чай, забыл, товарищ Фрунзе, чай, запомнил, время-то немало прошло, узнаешь, припомнишь ли?

А он встает, бежит навстречу ей, встречает как мать родную, руки жмет, усаживает рядом с собой. Светлая, добра улыбка на лице его.

— Нет, Власьевна, не забыл, даже помню, какую пуговицу ты к моей куртке пришивала, помнишь ли сама-то?

— Ой, забыла; Михаил Васильевич!

— Самую верхнюю, светлую. Не забыл и твои слова, присловицы. Помнишь, говорила: фабрика-то Куваева, да порядки на ней Дунаева. А лучше квашеной капусты твоей нигде в мире нет. Помнишь, как подавала: поешь, братец, а то на брюхе шелк — а в брюхе щелк.

Немало удивилась Власьевна такой его крепкой памяти. Вместе садились за стол, обедали. О новой жизни рассказывал Фрунзе ткачихе; о партии нашей. Долго просидела у него Власьевна.

Рассказала, как гудок родной она услышала на заре, узнала родной голос за тысячу верст. Не дает ей сердце покоя с того часу, просится на ткацкую. И сказала Власьевна, что, мол, при новой-то жизни за десятерых бы одна соткала и цветком бы розаном цвела. Да вот, прослышала, будто занято ее место на фабрике.

Брал товарищ Фрунзе ручку с пером, писал, чтобы старую ткачиху коммунисты по-хорошему встретили.

А еще планы Ленина ей рассказывал, что вперед-то мы пойдем не воробьиным скоком, а богатырским шагом. Сапоги-то скороходы мы себе сами сошьем, ковер-самолет сами соткем.

Придет день, придет час, — а он-то не за горами, — улетят по осени гуси-лебеди с Берендеевой да с Космынинской болотины, где мошкара гудела, да комары висели тучами. На болотине шепчутся белоус с кислицей. Прилетят весной — не найдут ни куста, ни гнезда. Тысячи солнц на сотни верст засветятся вокруг. Тогда все, кто работает, станут и счастливы, и богаты.

Придет день, придет час — советской-то женщине все добрые соседи отдадут низкий поклон с уважением, за то, что была она и умна, и смела, и в борьбе тверда, и в труде горда. Под всеми бурями стояла, не согнулася. Голоду глянула в глаза — голод бежал от

нас. Разрухе глянула в глаза — разруха прочь поползла. Смерти в глаза глянула — и смерть отступилась.

Не испугалась она темноты-невежества, махнула алым платком во все стороны, — расступилась темнота. Не лежит больше на плечах нашей женщины бремя позора и унижения. Красота нашего человека не в побрякушечках. Краше нашей женщины в мире нет.

Отдал Фрунзе записку, и такое слово сказал: эта-де записка не только от него, она в первую очередь от Ленина, от всей большевистской партии. Ленин указал, как идти рабочей женщине к свету-знанию.

Вот тут-то горько стало Власьевне, не может она прочитывать, что писано в бумажке.

— Нет уж я-то в государственной жизни не велика помощница. Я и грамоте-то не умею. Маленькая была — не выучили, с десяти лет поставили за станок. А теперь-то вроде уж и учиться недосуг. И заслуг у меня перед народом тоже нет.

— А заслуги-то сами не приходят, Власьевна, у нас в стране никогда не поздно послужить честно народу. У народа миллионы глаз: честного, прилежного сразу отличат.

Власьевна эти слова принимала близко к сердцу. Проводил Фрунзе старую ткачиху до станции, посылал с ней поклон друзьям-ткачам. Власьевна на ткацкую заветные слова везла в сердце.

Пришла на фабрику, каменному порогу поясной яюклон отдала, станкам, машинам тоже.

На ситце цветут цветы. Власьевне уменья в работе не занимать. Старая-то Власьевна на работе молодым ткачихам, гляди-ка, сто очков вперед дает. Хоть и трудно порой, да зато ей почет ото всех.

После смены Власьевна ходила в школу с букварем. Будто во второй раз она родилась на свет. Первое-то в букваре сама прочла: «Мы не рабы». А после думы заветные Ленина прочитала. С каждой новой строчкой светлее перед ней становился мир.

Уж слышно на ткацкой, наша Власьевна советует: а давайте, дескать, это вот и это станем делать по-новому. А потом уж и тесно стало Власьевне в цеху. Уж другие идут за советом к Власьевне. В делегатки выбрали. Давай, Власьевна, ворочай, помогай нам, а мы за тобой все пойдем. Никто плохого слова не ска-

жет о Власьевне. Где она — там и в работе успех всегда. И загорелось в душе Власьевны большое желание. За станком она думала об этом, над книгой сидела о том же думала, порой думы своей пугалась даже.

А тут радость прилетела на фабрики: Михаил Васильевич приехал с докладом на большое собрание. Привез он план небывалый, мысли смелые. И тот план больших работ товарищ Сталин ему вручил, чтобы он обсудил его с ткачами. В плане том были заветы Ленина, во всей их чистоте и прозрачной ясности. Собирал товарищ Фрунзе друзей-подпольщиков, старых боевых товарищей, молодежь смелую, беспартийных также. Не забыл позвать на совет и ткачиху Марфу Власьевну.

Всем большой план, что привез он, был дорог и мил. В досужую минутку Марфа Власьевна подошла к Фрунзе по душам поговорить. Думушку свою поведала:

— Хочу я быть в нашей партии Ленина и Сталина. Читаю я каждое слово, что ими написано, сердцем-душой их думы беру, жить хочу, как они учат. Душой-то я давно партейная. Только кто за меня поручится, не знаю. Научи, Михаил Васильевич, наставь на ум.

Озарилось улыбкой доброе лицо Михаила Васильевича, пожал он руку ткачихе и сказал:

— Я за тебя поручусь, Марфа Власьевна, со спокойной душой, с чистой совестью.

Той весной на Красной Горе первый камень новой советской фабрики заложен был. Клала этот камень старая ткачиха Марфа Власьевна Мотовилова. Положила она камень, на колено припала и поцеловала Красное знамя с золотым серпом и молотом.

### ПОДСТАВКА С КРЫЛЬЯМИ

У Меньшиковых в Митриевской слободе своя ситце-набивная была. Больше чужбинку работали, статья доходная, челнок-то к ним золотым боком обернулся.

А вот в детях Меньшиковым не задалось: сын Митродор как уехал в Петербург — и об отце с матерью забыл. А у отца вся надежда в сыне была. Ради него он ночей не спал, все копил, все ворочал, строил.

Слух до отца дошел, что будто сын его поехал за границу на теплые воды, да там и запропал. А на него было отцом-то чуть не все недвижимое отписано.

— Дочь Софья лицом взяла, а рассудку большого бога не дал, вроде недоумка росла, да еще с глушью. Может из-за глухоты все больше молчала, да на других глядела. В годы стала входить, совсем отцу с матерью горе. Жениха требует, хоть никто на нее и не глядит, на дурочку. Повадилась к парням в набивную ходить. Тихона заприметила. Вроде никакой и красоты в нем не было. Софья подойдет, уставится и глядит. Прогнать-то вроде нельзя, — хозяйская дочь, на свое заведение пришла. А Тихону не по себе — товарищи подсмеиваются. Скажет он ей:

— Глаза, барышня, не сломай, не сглазь меня.

Сам-то Тихон давно облюбывал Груню, она в таскалке товар складывала. Эта подстать была Тихону, первая песенница на фабрике. Да на горе парню ей-то он не приглянулся. Причиной тут был печатник Игнатий, собой постатнее Тихона, что с лица, что в плечах, пройдет — любо-дорого поглядеть, слово скажет — есть чему посмеяться. И дело свое знал, да только в печатниках-то он не долго побыл. Случилось тут такое дело.

Одна по лету привезли для отделочной патоки.

В отделочной товару лицо придают, блеск, особенно — плотность. Тут крахмал нужен. Без него не выложишь. В прежнее время и патока шла... Вот, скатили бочки у ворот, а мальчишки с соседней улицы подглядели, что сторожа нет, доску в заборе отломали и, ровно воробьи, налетели на патоку. И одна девчонка с ними — Марьянка, черноглазая, с кудряшками, как галчонок загорелая, в красном платьишке.

Хозяин из конторы увидел в окно.

— Ах, вы, такие-сякие, когда только успели, вот я вас сейчас!

Тут как раз и входит в контору Игнатий из набивной. Просить о чем-то хозяина пришел.

— Игнаха, лети за забор, встань у дыры, а я шугну их окаянных. Запоймай мне вон ту девчонку, да проучи как сумеешь. Ей богу, полтинника не пожалею.

Игнатий притаился у дыры за забором. Из конторы хозяин с клюшкой выбежал:



— Вот я вам...  
Побежали ребятишки от бочки, а Игнатий и схватил Марьянку за кудрявые вихры.

— Попотчуй, Игнаха, ее, попотчуй, накорми до-  
сыта.

Игнатий, ради хозяйских чаевых — рад стараться, поднял Марьянку и окунул ее с головой в патоку.

— Лижи, лижи, — хозяин хохочет.

— Теперича, тащи, да в пуху ткацком покатай.

Покатали Марьянку в ткацком пуху, и стала она вся лохматая, как медвежонок. Так и пустили ее лю-  
дям на смех по улице. Бежит Марьянка, плачет, гла-  
зенки протирает.

— Мне теперь попадет от бабушки...

Все узнали на фабрике об игнашкином поступке па-  
костном. Кто же за это похвалит? Попреков наслушал-  
ся со всех сторон.

А Тихон ему напрямик отрезал: тебя, мол, самого  
за это нужно — не в патоке, а в поганой луже выку-  
пать.

Кабы знал Игнатий, чью дочку обидел, ужаснулся  
бы. Отец-то ее сгиб на царской каторге, мать с горя  
умерла. И осталась Марьянка на попеченьи старой  
бабки с материнной стороны. Чем жила старая, никто  
не знал. Бабы-то говорили, будто в подпольи она хра-  
нит серебряный клубок. Она что хошь напустить мо-  
жет. Колдунья — не колдунья, а глаз у нее — ой, тя-  
желый!

Игнатью сулили: гляди, теперь беду на тебя напу-  
стит.

На другой день зовет к себе Меньшиков Игнаху.  
О чем они толковали, никто не слышал, только на  
утро — глядят, Игнаху в десятники поставили.

А перед этим Тихон, было, к Груне посватался. Она  
отказать-то не отказала, но и согласья не дала. От  
фабрики до Графской земли, где Груня жила у сестры  
своей, Игнаха провожал ее. Шел, да шел, все над Ти-  
хоном смеялся:

— Его небось хозяин к себе в зятя прочит. Пого-  
ди, Груня, немножко, дело у меня пошло: вот уж я  
десятник, а там, глядишь, — повыше стану, можа свою  
фабричку одумаю, там и поженимся. И будем жить  
в миру, да в ладу.

Он любил ее, может, не меньше, чем Тихон. Подумала Груня, подумала и совсем дала отказ Тихону. С тех пор Тихону с Игнатием тесно стало вместе на одной набивной работать. Игнатий, — зря не скажешь, не притеснял Тихона. Тихон гордый был, сам напоперек шел. Раз и схлестнулись они в фабричной столовой.

— Подлиза, знаем, куда ты на брюхе ползешь, — Тихон на десятника кричит. А десятник насмехается:

— Не бойсь, хозяйский зять, твое место не отоблю.

Тихон как вскочит. Ну и сцепились, только пух летит, еле их разняли. Десятник — прямо в контору.

Тихону дали расчет в тот же день. И в билете отметили.

Походил, походил он по ситценабивным, вроде и народ нужен, но как в билет заглянут, не берут человека.

Так нигде и не определился, ушел в Шую, но почесть каждое воскресенье в Иваново приходил, чтобы хоть глазом глянуть на Груню, мимо ее окон пройти и то сладко.

Тихона на фабрике не стало, — Софья повадилась к десятнику ходить. Игнатий — не то, что Тихон. Он перед хозяйской дочкой поклончив, услужлив. Софья что-то и вообразила. Что она там своим родителям наплела про услужливого Игнаху — бог ведает, но для Игнахи дело обернулось так, как он и не думал, не гадал.

Груняшка одна увидела Игнатя с хозяйской дочкой и стала попрекать его. Игнатий так пояснил: рассуди, — человек я зависимый. Если порой и ласковое слово Софье скажу, так все ради выгоды. Нельзя мне иначе. Через непочтительность к дочке хозяйской я могу все потерять. Рази я тебя на эту куриную голову сменяю! Ты уж мне поверь.

Груня доверчива была и сговорчива. Заплачет, а скажи ей поласковой слова два, глядишь и поверила, заулыбалась. И Игнатий уж, как только не ублажал ее, перво-то время чуть ли не на руках носил. Ночи с ней с зари до зари на крыльце просиживал, так не спавши оба на фабрику и побегут. Да молодые-то годы, юность-то хмельная, — работы ли бояться?

Что стороной-то говорят, Груня и не слушает больше. Поняла: парень — словно заяц — с умыслом, мол,

не зря петляет, состоянье добывает, о завтрашнем дне думает.

Петлял Игнатий не даром. Свою книжку в банке выписал. Но невесте об этом не сказал. Только, чем больше у него на книжке прибывает, тем дальше он свадьбу откладывает.

Подруги Груню спрашивают:

— Ну, десятская невеста, скоро ли нас на свадьбу позовешь. Чай, у Игнаши денег накопилось тысячи.

Но Игнаха поглядит тайком на свою книжку — и запечалится. Белый свет ему не мил. Когда-то еще по десятке в месяц на свою фабрику накопишь. Можа и скопится сколь надо, да жить некогда будет. На што оно тогда все богатство, дряхлому да чахлому. Молодому бы... сейчас бы... Эх, пожил бы он всласть!

Сызмалства в голову-то ему пала материна заповедь: ты, Игнаха, в сорочке родился. И на роду тебе веселая жизнь написана. Ты ищи его, свое счастье, лви. Поймаешь — держи крепче.

Ночью сны его мучили, покою не знал: приснится же, будто с Груняшкой в карете мимо своей фабрики катается. Так и зайдется сердце от радости. Проснется — лежит и думает: пожалуй не велика будет радость, если в карету с ним сядет такая, как Софья. Нет, думает, лучше голову под топор. Но в другое-то ухо словно бес фабричный ему нашептывает.

— Хилая Софья, она можа и проживет-то какой-нибудь год, два. Тесть тоже на ладан дышит. А там во всем будет твоя воля, всему хозяин будешь.

Уткнется Игнатий носом в подушку, край одеяла закусит, всю ночь катается с бока на бок.

Что ни день, больше дел у него появляется. Рвется сердце, кипит, просится к Груне, а заглянуть некогда. Наобещает, наобещает, да и не придет. Все на работу ссылается.

Софья у отца новую чуйку просит. Потом еще:

— Эх, мы в лес ездили... Тятя, сделай десятника дилехтором.

Отец ей:

— Я, может, его полным хозяином сделаю.

Вот, раз вечерком и припожаловала к Игнатью Ефимья — зеленый глаз. У нее на одном глазу зелено пятнышко было, в девчонках вязала, ненароком спи-

цей себе глаз и сбедила. В купеческих домах она на примете была. Тем и кормилась. Кого сосватает, кого свести, кого развести, или на хозяйских поминках поголосистой повить — это ее дело. Одна такая — на весь город. Одевалась она, все как бы попестрей, кушаком потуже подпояшется, идет — словно два больших мяча один на другой поставили.

И въехала она в избу в своем расписном сарафане, как карусель с базара, такая же пестрая, круглая, приспособилась поудобней, табачку понюхала, табакерку убрала. И принялась Ефимья ткать. А уж коли Ефимья принялась ткать, она свое выткет.

— Игнатий, Игнатушка, лови счастье-то смолоду. Прозеваешь, спохватишься — ан с торы скатишься. Счастье-то прямо тебе в руки просится. Что в хозяйском-то дому стряслось, слышал ли? Кому можа и поминки, а нам свадьба наклеывается. Хозяин-то в тебе души не чает. А жить-то ему, что червивому грибу на солнце. Все твое будет. Женись, женись, пока не поздно. Правда, девка-то не клад, да где ты с таким паем красавицу подберешь. Грунька-то почище, да за душой-то у нее кроме кос да песен нет ничего... А этой сам знаешь... Все под твоей рукой будет... Не успеешь ты... дыхнуть — каждое желание твое исполнится. За деньги-то птичьего молока достанут, только аукни. Все перед тобой посторонится, все тебе в пояс поклонится. Сколько станов-то, сам знаешь. Полотняным-то амбарам счету нехватит. Да лавки. За деньги-то, мило чадо, и дурочку умницей назовут, а нагую-то и смышленую захухнают... Счастье нежданно-негаданно свалилось нам, письмо получили: балбеса Митродора, софьина брата, какой-то приятель из-за девки смазал, на теплой-то воде, Софье все фабрики остаются. Как про Митродорку прослышат, почище тебя женихи найдутся, отбою не будет. Не забудь, невеста после этого письма стала не простая, золотая. За ум не возьмешься — все потеряешь. Пойдешь с Грунькой по миру. В таскальщиках где-нибудь под кулем и умрешь. Тогда и в десятиниках на этом заведеньи не бывать тебе больше. Я бы на твоём месте полы хозяйской поддевки целовала. Не сама пошла, щепну на ушко потихоньку: отец послал, души в тебе не чает, ни с одним богатым парнем ровень не ставит.

А Груняшка не убежит от тебя, никуда не денется. Груню я уговорю. Я ее черной немощью запугаю, чтобы она себя для тебя берегла. Подумай, две яблоньки, две кудрявых над тобой сучья развесят, с какой душа твою желает, с той и рви яблочко.

Игнатью она и выговорить не дала. Одно требует: согласен или нет. Не согласен — прямо к им иду, так все и выложу. А там сам перед хозяином отчитывайся.

Как вечером на стул-то села, только на заре с него поднялась, и так-то закружила голову Игнатью, что он и себя не помнит. И верно, — вдруг да выгонит хозяин? И Груню-то жаль. А о богатстве-то подумает, и больно завлекательно: Митродорки нет. Из десятиков он прямо в хозяйские зятя...

Думал он одно, а язык как бы сам сказал другое.

— Ладно, ступай, только на деле вышло бы.

И полетела Ефимья. Как ушла она, опаматовался Игнаха:

— Что я сказал?

Выбежал, а Ефимья и след простыл. Окатила он себя с маковки холодной водой под колодезную трубой...

Утром-то на фабрику пришел, как во хмелю, инда пошатывает его.

В полночь у Груняхи и заревел. Сердце в одну сторону рвется, а корысть-то в другую клонит.

Чего он только ей ни наговорил, чего ни насулил. Выдумал, что будто его обокрали, большие казенные деньги у него взяли, и если он в одну неделю не разживется деньгами, не расплатится с казной, то, дескать, Сибирь ему вечная. Остается одно. Но потом бросит Игнатий куриную голову и женится тогда на Груне. Еще тем утешал, видно Софья долго не протянет и можа очень скоро, Игнатий с Груней будут все-му хозяева.

Груня говорит:

— Любовь сама загорается, но раз потушишь, второй раз золотым огнем ее не зажжешь.

Наплакались оба, под утро расстались.

Только Игнатий вышагнул на улицу и видит при луне бойко бежит сторонкой девчоночка, подросток, годов двенадцати не больше, словно из-под земли выскочила. Волосы черные, кудрявые, с искорками серебряными, платьице красное. И вроде она похожа на

Марьянку, ту самую, что он когда-то в патоке выкупал. Бежит эта она, двумя клубьями играет: один клубок красный, другой клубок черный. Бросает клубки, ловит их, да и так-то ловко, вскинет клубки за спиной, а ловит перед собой, и хоть бы раз клубок уронила. Увидела она Игнатя, бежит за ним, сама клубьями, слоено мячами о стенку, в спину ему пуляет, красный клубок бросит, приговаривает:

— С этого клубка ткал, счастье знал.

Потом черным клубком бросит, а он словно деревянный, больно ударяет:

— С этого клубка, что ни ткать — счастья не знать.

Мячи, как живые, порхают рядом, а не поймаешь, и Марьянка не отстает, бежит за парнем. Жуть охватила Игнаху, давай бог ноги. Обернулся у калитки: ни девчонки, ни клубков как не бывало...

Когда молодых венчаться повезли, весь город у церкви собрался, только Груняша не пришла.

...Золоченых карет десятка три к ограде приехало.

Раскинули перед десятником от кареты и до паперти красный коврик-дорожку.

Софья-то под венцом стоит, по сторонам смотрит, улыбается, а жених хоть бы раз на народ глянул, как встал, в пол уставился — головы не поднял.

Стали кольцами-то меняться, он и обронил, кольцо и покатилося под ноги в народ. Заныло сердце у Игнатя.

Суматоха поднялась, искать, поискать, нет кольца. Ищут, охают, кто же поднял, родня спрашивает:

— Да сейчас тут какая-то стрекоза в красном платьишке вертелась, что-то с полу подняла.

Из церкви-то вывели, только в карету молодые сели, поехали, за ним следом орава ребятишек несется и красное платьишко мелькает.

Глядит Игнатий на то платье, и все больше мутит душу жениха.

К тестю-то в хоромы и вовсе невеселый зять вошел.

Ну и пир-пированье задали! Во пирах пир устроили. Вино-то рекой лилось, яства, всякой всячины, снеди там, закусок — горы на столах. Все четыре стола тестя правил. Первый-то день: стол красный, положено у мо-

ледого гулять. Но у жениха хоромины не было. Второй день: стол гарный. На третий-то день невесту из дома родительского выводят, стол выводной.

И на четвертый день тесть с тещей почетный стол собирают: это уж в честь жениховой родни.

Палата мягкими сиденьями обставлена, куда ни глянь — везде зеркала, лестницы лаковые, полы тоже, сама нога по полу плывет, не слышно, столы, скамейки все красного дерева, сиденья штофной матерью все обтянуты, узорами золотыми разукрашены. В люстрах золотых, серебряных свечей, что звезд на небе.

Во все двери, во все ходы-выходы ковры посланы малиновые бухарские. На занавесях цветы золотые цветут, кисти, бахрома позолочены. На горках — посуда, не стекло, не глина, все хрусталь, фарфор, серебро да золото.

Гостей полон дом. Девок, у которых отцы побогаче, на свадьбу кликнули.

А простолодью, — тому уж, как заведено было: бочки с вином, с пивом за ворота выкатили.

В дому просторно, чисто, прибрано, гости тоже пьяные, но не то, что у ворот, не до беспамятства. Молодок пригожих не мало, платья на них все бархатные, на груди кружева из мелкого жемчуга снизаны, рюши с бриллиантовыми низками, с крупными застежками.

У невесты-то платье на заказ к свадьбе сшито, за портнихой за нарок кучера в Москву посылали. Что за платье. Вороток бахромой обшит из мелких бриллиантов, застежка на поясе тоже бриллиантовая, на голове венец не венец, корона не корона, драгильная шапочка и вся она из крупных бриллиантов, на свету во все стороны искры рассыпает. А серьги-то что подковы золотые, на полщеки, ожерелье на шее, фемуар бурмицкого жемчуга вперемежку с бриллиантами, каждый камень не меньше ореха, а шарф наподобие кружева, тоже из мелкого жемчуга.

Официанты в белых чулках, с салфетками на руке, от стола к столу, как по воздуху, летают. Целый полк музыки: у Игнахи и голова закружилась: вспомнил он свой угод за переборкой в избе, что за рубль у одной переборщицы снимал, тюфяк с клопами. Вспомнил, как зимой одеяло примерзало к стене... И вдруг куда попал.

А тесть разошелся, не знает, чем народ удивить. Перед свадьбой-то сотни две девчонок, подросток, годов десяти, двенадцати к себе в дом собрал; в нижнем флигельке всех вымыли, причесали, припомадили, на-румянили, кудри завили, одних в малиновые сапожки обули, других в зеленые, третьих в оранжевые, платица на всех шелковые, нарядные, в косы ленты вплели, а за плечами каждой по два голубых крылышка пристроили, выучили их, как ходить, как гостям богатым кланяться.

Когда почетный-то стол пировать начали, сначала гости в одной половине угостились, поплясали, хозяин на другую половину зовет: пожалуйста, мол, гости дорогие, варенья отведайте, яблоками, виноградом потешьтесь. Раскрыл красные двери в другую половину, а там никакого стола и нет, только стоят двумя рядами маленькие девчонки с голубыми крылышками впереди стульев, одна к одной, как на подбор. Чем угощаться-то? Гости спрашивают. Хозяин хлопнул в ладоши, и спускается с потолка на золотых цепях стол, а на нем варенье, яблоки и виноград и прямо на плечи девочкам. Стоят голубокрылые девочки и будто стол на своих плечах держат. До такой-то забавы только один Меньшиков дошел. И пошли пить, да плясать, тешиться.

Тетка невесте подносит целое блюдо жемчугу, а Игнатя из ведра серебром осыпает, по полу на семьдесят дорог дождь серебряный прыгает. Живи, мол, Игнатий, в ладу с нареченной, и в жизни так же тебе в карман серебро будет сыпаться.

Кто в пляс, кто в питье.

И в самый-то разгар веселья вдруг из-под стола одна подставка — девочка с крылышками выскочила из ряда и на стол прыгнула, другие-то живые подставки в стороны разминулись, стол-то с угощеньями и рухнул.

И тут из ведра на Игнатя вместо серебра уголье посыпалось, а весь он словно трубочист стал.

А девчоночка-то и начала клубками бросать в Игнатя, то черным, то красным, да все со старой присказкой.

Ее ловить, да хватать, а она прыг, скок — не ухватишь. В сумятице не поймешь, чья это попрыгунья.



В самый-то шум-гром дверь распахнулась настезь, по лаковой-то лестнице, по ковровой малиновой тропе и входит Митродор, сын хозяйский, — сюртук грязью обрызган, и черная повязка на одном глазу. Все так и обмерли, — недавно только по Митродору сорочкины правили.

Не по сердцу прихлась сестрина свадьба наследнику отцовых богатств. Вошел, да как закричит, замашет кулаком:

— Обрадовались?.. Живого отпели?.. А я еще поживу, я еще вам себя покажу! Я всему отцовскому капиталу наследник! Софью-дурочку в монастырь отошлю. А этого зятя-голяка в закотельщики поставлю.

Ну, сразу, конечно, все гулянье-то и погасил. Гости в разные двери, за шубами, да за шапками. А девчонка, что переполоху наделала, пропала, не видели куда.

Получил Игнаха вместо золотых-то гор одну Софью. Подступила к нему смертная тоска, хоть в петлю полезай, ничего в жизни не радуется. А как об Груняшке подумает — и вовсе на свет божий не глядел бы.

Груняша-то после игнатьевой свадьбы ушла с этой фабрики. Где она устроилась, не знал Игнатий.

Мучился, мучился, да пока это болото совсем не затянуло, пошел он как-то к Груне, думает: упаду ей в ноги, христом богом прощенья вымолю. Можя простит, пойду я с ней куда глаза глядят.

Темным вечером по осени, словно вор, тихо-тихо подошел под чужие окна, постоял, послушал, стук, стук в дверь.

— Кто там? — сестра груняшина спрашивает.

— Я это, открой, ради бога, или Груню вышли, тоска меня со бела света сводит.

Открыла сестрица дверь, в избенку пустила.

— Где она? В ноги ей поклониться пришел. Сам места себе не нахожу. Где она, скажи ради бога.

— Обручили мы Груняшу недавно, увез ее от нас Тихон в Шую...

И пошел от чужого крыльца в осеннюю ночь Игнатий, потерянный, сбитый со своей стежки человек.

## ДЕТСТВО

### Поэма

Село родное, Сорохта моя,  
Твоих полей давно не вижу я.  
Из тех картин, быть может, многих нет,  
Что я в душе храню от детских лет.  
О, детство, детство — резвая пора!  
Пускай ко мне была ты не добра —  
С улыбкой, с грустью, глубоко любя,  
Я не устану вспоминать тебя.  
Уже седьмой десяток я живу,  
А хочется взглянуть на ту траву,  
Где бегал я ребенком лет шести.  
Довольный тем, что буду жить, расти,  
Что есть какой-то у меня приют,  
Тогда, как вьюги снежные поют.  
Припоминаю сверстников моих.  
Давным-давно мне вести нет от них.  
Про их судьбу и скудные слова  
Не принесла людская мне молва.  
Сойтись бы нам за праздничным столом,  
Потолковать о новом, о былом;  
На пройденный бы оглянуться путь  
И мимоходом детство вспомнить.  
Но к одному, в домашней тишине,  
Приходят дни далекие ко мне.

\*\*\*

Тепло и ярко солнышко весной,  
Небесный свод блестит голубизной.

По воле ветра, зелен и душист,  
Зешелестел березок свежий лист.  
Воздушных легких домиков жильцы,  
Веселой трелью радуют скворцы,  
И, отражаясь в зеркале пруда,  
Крикливых чаек носятся стада.  
Село мое, родная сторона!  
Как по душе была твоя весна:  
Другой красы — чудесной золотой —  
Я не искал ребяческой мечтой.

\*\*\*

Не позабудешь летние деньки.  
Тропинки все знакомы и легки,  
За долгий день спокойных нет минут:  
Босые ноги где не пробегут?  
В пыли дорожной теплой колен  
С утра следы проложены твои,  
По травам росным вьется полоса —  
Здесь под ногой осыпалась роса.  
Лесную дрему будит детский гам,  
От зорких глаз не спрятаться грибам.  
Трусливый заяц промелькнул на миг,  
Из-под осинки глянул боровик,  
И вдруг охватит радости поток —  
Перед глазами беленький грибок.  
Наклонишься, берешь его, как клад,  
В глуши ветвей таишься от ребят:  
Ау, ау — во всем лесу звенит.  
А тут полянка светлая манит.  
То к елочке кудрявой держишь путь,  
Под каждый кустик рад бы заглянуть,  
Но уж полна плетюшка до краев  
Румяных, крепких, молодых грибов.  
Пора к домам. Прощай, лесная тень!  
Над полем ярко разгорелся день.

\*\*\*

У самой церкви, на краю села,  
Где в ближний лес дорога пролегла,  
Обширный сад раскинулся, и в нем  
Еще стоял старинный барский дом.

Хозяин сада, сельский богатей,  
Мужик-вахлак, случайный грамотей.  
Но каждый двор крестьянский на селе  
Держал Захарыч в жесткой кабале.  
Лесами он да пашнями владел,  
Торговлю бакалейную имел  
И мельницу, и собственный кабак.  
Округе всей известен был кулак:  
Где есть нужда, где горе гнет семью,  
Там паутину вяжет он свою.

\* \* \*

Преображение — праздник годовой.  
Село в заботах вязло с головой.  
К Захарычу везли мешками рожь,  
Он выжимал последний медный грош  
Ему барыш, крестьянину раззор.  
А гости едут семьями на двор:  
В избенках ветхих званая родня  
Пирует, пляшет три-четыре дня.  
По улице торговцев длинный ряд:  
Завидная приманка для ребят —  
Орехи, груды яблок наливных;  
Глотая слюнки, ходишь мимо них.  
Отведать бы хоть малость леденца,  
Да пустота в кармане у отца —  
Все медяки Захарычу отнес  
И сам в хмелю, сидит, повеся нос.  
В долги залез уже на целый год —  
Кулак за все сторицею берет.

\* \* \*

Я глубоко любил мое село.  
С любовью той все детство протекло.  
— Чего хотеть, — я думал сам с собой,  
Когда у нас за каждую избой  
Черемухи с рябинами растут,  
Когда у нас такой громадный пруд,  
Что и версты, быть может, подлинней!  
Пусть нету в нем ни щук, ни окуней,  
Зато карась блестит, как золотой,  
Когда на леске бьется над водой.  
А в летний жар купанье — красота!  
Уж я то знаю лучшие места,

Где никогда не бойся утонуть:  
Идешь, идешь, а все—вода по грудь!  
А колокольня? Эх, и высока!—  
За купол задевают облака!  
Вот только бы отец получше жил:  
Свою бы избу новую срубил,  
Пахал бы пашню острою сохой.  
И я бы рос — помощник не плохой.

\* \* \*

Оставив рано тесное жилье,  
Угрюмое, чужое, не свое,  
К богатому кулацкому двору  
Отец и мать спешили поутру  
За черный хлеб работать дотемна.  
Была со мною бабушка одна.  
Прильнет, бывало, к внуку своему,  
Не даст его в обиду никому:  
Я за порог, и ей не усидеть —  
Глаза свои готова проглядеть.

\* \* \*

Воскресный день. Избенку на замок.  
Шагаем гладью полевых дорог  
До деревушки ближней, где не раз  
Сердечным словом принимали нас.  
Идем, и внятно слушает простор  
Наш задушевный тихий разговор:  
— Ах, бабушка, скажи ты мне, скажи —  
Где будут цвезть полоски нашей ржи?  
Когда отец посеет свой овес?  
В какой лужок пойдем мы на покос?  
И слышался мне горестный ответ:  
— Полей у нас и не было, и нет;  
И не бывать своей у нас земли —  
Мы, внучек мой, бездомки — бобыли.  
Твой дедушка до времени увял,  
Под розгами помещика стонал;  
Дождался — дали волюшку ему.  
А вместе с волей — нищую суму.  
Отец твой хлеба досыта не ел  
В те дни, когда Захарыч богател,  
И посеичас не разогнул горба...  
Ох, тяжела батрацкая судьба!

Но не тужи, мой мальчик, не грусти —  
Придет пора — найдешь свои пути.  
Одно лишь помни в жизни ты своей,  
Что не в богатстве счастье людей.  
Нешироки крестьянские поля.  
И здесь, и там, чернея, как змея,  
Среди посевов тянется межа  
И губит их, и режет без ножа,  
Узка полоска, колосом бедна:  
Немного пахарь соберет зерна.  
Пойдет он в город зиму-зимовать,  
Богатым людям силу продавать.  
Один Захарыч без нужды живет,  
Чужою силой сеет он и жнет;  
И мельница-ветрянка на ходу,  
И яблоки румянятся в саду.  
И в кабаке не тихо: грусть-тоска  
Поет и плачет — гостя кабака.

\* \* \*

Светла дорожка в золоте полей.  
А вот и лес вершиною своей  
Нам за поклоном отдает поклон.  
Навстречу льется птичий перезвон.  
У ручейка присядем на траву;  
Кукушки однотонную молву  
Послушаем: кукушка, дай ответ,  
Скажи по правде: сколько жить нам лет?  
А рядом сеча, молодой лесок—  
Для земляники славный уголок.  
Как утерпеть? И я уже в кустах:  
Цветы, цветы да ягоды в глазах.

\* \* \*

Вдоль деревушки тихо мы бредем  
И возле окон терпеливо ждем.  
Поет молитвы бабушка моя,  
Привычным тоном подпеваю я:  
Науке этой в пору юных дней  
Учился я у бабушки моей,  
Когда сидел на печке без сапог  
И на прогулку выбежать не мог.  
На голос нашей жалобной мольбы  
Хозяйки выходили из избы,

Ломтями хлеба наделяли нас:  
«Для праздника, примите в добрый час;  
Не от избытка подает рука,  
А жизнь-то ваша, знаем, не легка.  
Примите, Христа ради, может быть —  
И нам придется по миру ходить»...  
Усталые с наполненной сумой  
Под вечер приходили мы домой.  
Встречал отец без слова, только мать  
Спешила сына ласково обнять.  
Но видел я — туманила слеза  
Родные материнские глаза.

\*\*\*

Потом не стало бабушки моей.  
А время шло. На смену теплых дней  
Желтела осень, лютовал мороз.  
Вот я уже до школьника дорос:  
Меня одели с горем пополам.  
Сижу, букварь читаю по складам,  
Выводит буквы робкая рука.  
Но сладко думать сыну батрака:  
Он по отцовским не пойдет следам,  
Он выучится многому. А там —  
В просторный класс учителем придет.  
Среди людей большой ему почет:  
Кого в селе ни повстречает он —  
Всяк отдаст учителю поклон,  
По имени старается назвать.  
Гордится им неграмотная мать.  
Но... не сбылись думки, не сбылись,  
Сухой листвою по ветру унеслись.

\*\*\*

Был день весны торжественно пригож:  
В потоках света серебрилась рожь,  
Чернели пашни влажной бороздой,  
Звенела жизнь природы молодой.  
В тот день свои покинула края  
Бездомная бобыльская семья.  
Лежал наш путь в фабричное село,  
Тянула кляча наше барахло,  
В телеге шаткой искрился, как жар,  
Краса хозяйства — медный самовар.

Я не грустил: о чем, мол, горевать?  
Лишь захочу — вернусь сюда опять.  
Но не вернулся к милым я местам,  
Одна мечта блуждала долго там:  
То слушал я, как будто, шум лесной,  
Кукушка звонко говорит со мной,  
То по тропинке полевой бежал,  
То, будто бы, цветами украшал  
Могилу доброй бабушки моей  
Под свежей тенью липовых ветвей  
В углу кладбища. Только и всего —  
Осталось мне от детства моего.

\* \* \*

Летели дни обычной чередой  
Все дальше, дальше. С горькою нуждой  
Мы не прощались и на миг один.  
Царил над нами новый господин.  
То — не Захарыч, сельский живоглот —  
В стократ сильней его проклятый гнет:  
Уж не десятки—тысячи людей  
Давил нещадно властью он своей.  
В фабричный корпус к ткацкому станку  
Бежал отец с зарею по гудку  
На долгий день сурового труда.  
Детей-подростков голод вел сюда  
Ткать миткали, работать за гроши,  
Капиталисту множить барыши.

\* \* \*

И мне пришлось пройти не мало лет  
Путем отца. Но я увидел свет,  
О чем отец и помышлять не мог:  
Мой мир прекрасен, волен и широк;  
Чудесный сон открылся наяву.  
Подругой верной песню я зову,  
Она свободной долей мне дана,  
Помолодевшим сердцем рождена.  
И счастлив я, и счастлив весь народ,  
Что под советским солнышком живет.



*В. Беляев*

## **ЗАСТАВА НАД БУГОМ**

### **1. НА ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛЕ**

Поодаль Сокаля, в самом северном уголке Львовской области, почти на границе Галичины с зеленой Волинью, раскинулось старинное, изрезанное оврагами и лощинами село Скоморохи.

Откуда взялось тут, на пограничьи с Польшей, такое неожиданное старорусское название этого села?

Мы уходим мысленно в глубь прошедших столетий, воскрешаем былое Червенских городов. Перед нами возникает прошлое Галицко-Волинского княжества, некогда защищавшего своими людьми от татарских набегов неблагоприятную Европу.

И в неповторимом быте давних веков Червоной Руси, мало отличавшемся от быта северных русских княжеств, возникают весельчаки-скоморохи, бродяжные люди, сделавшие развлечение высоких покровителей своим ремеслом, подобным гончарному или ткацкому. Возможно, что группа таких скоморохов и осела здесь, в излучине Буга, в далеком прошлом, и постепенно стала заниматься хлебопашеством, чередуя работу на земле с отхожим промыслом, развлекательством. Недостатка в княжеских дворах у них не было.

Юго-западнее, в древнем Белзе, сидел основатель Сокаля, русский князь Симеон, участник великой славянской победы над спесивым германским воинством, поведший свои полки громить немецких крестоносцев под Грюнвальд. Княжескими столицами были расположенные вокруг — Холм, Владимир-Волинский, Луцк и, наконец, лежащий южнее, на буграх Расточья, на водоразделе Европы, седоглавый красавец Львов.

Но померкла на много веков в междоусобицах и нашествиях былая слава Червоной Руси. Спасенные некогда кровью русинов и карпатороссов от монгольского ига, польские короли поспешили набросить на эти земли свое ярмо. Потомки бродяг-весельчаков, жители Скоморох становились попеременно то собственностью польской короны, то крепостными магнатов. В конце прошлого девятнадцатого века к богатым землям села протянул свои руки из Львова граф Владимир Дзедушицкий. Ему принадлежало здесь около 700 моргов полей, лугов, огородов и 1818 моргов леса.

Однако ни плети графских гайдуков, ни близость польского фольварка Ромуш, выросшего поблизости села, не могли уничтожить в памяти коренных обитателей Скоморох воспоминаний о происхождении их предков, о том, кому истари принадлежала эта свободлюбивая земля, то и дело, из века в век щетинившаяся огнем крестьянских восстаний. Они упорно называли себя русинами-украинцами и, как ни старались заманить их в католицизм с помощью унии и привилегий, не хотели изменять украинскому народу.

Мы можем узнать об этом даже в официальных изданиях конца прошлого века. Так, мы находим справку, что в Скоморохах живут 643 русина, отказавшиеся называть себя польскими подданными.

Отчасти и в этом упорном сохранении жителями Скоморох национальных и исторических традиций прошлого можно было найти и причины их патриотического поведения в дни, когда осенью 1939 года Красная Армия вошла в Западную Украину.

На землях, отнятых советской властью у графа Дзедушицкого и помещика Пшевроцкого, крестьяне Скоморох организовали один из первых в области колхоз. Неподалеку от нового колхоза, над бывшим фольварком помещика Станислава Пшевроцкого, взвивается высоко над желтеющей листвой соседних деревьев красное знамя.

Здесь, в старинном, построенном еще в феодальные времена здании, с глубокими погребями и службами, располагается 13-я пограничная застава. Люди ее—молодые, неунывающие здоровяки в зеленых фуражках, принесли сюда, на заставу, опыт многих областей Советского Союза.

Заставой командует молодой офицер, уроженец Ивановской области, лейтенант Алексей Лопатин. Выпускник Саратовского военного училища, он приехал в Сокальщину, на берега Буга вместе со старушкой-матерью и женой-односельчанкой Анфисой. Впервые пришлось быть Алексею Лопатину начальником заставы, да еще на таком важном направлении, но он не растерялся. Подтянутый, вежливый в обращении, умеющий требовать от своих подчиненных строгого выполнения всех правил охраны границы, он в часы досуга был для них старшим товарищем, воспитателем. За те полтора года, что пробыли вместе под одним небом Западной Украины люди тринадцатой заставы, Лопатин сумел привить всем им чувство воинского долга и понимание того, какое доверие оказала им страна, послав их сюда, на границу.

Больше всего в мире люди заставы любили родину, пославшую их на берега Буга. Она простиралась у них за спиной от Карпатских предгорий до берегов Тихого океана. Мирный труд ее людей они охраняли, готовые в любую минуту выполнить все, что поручит она им. И человек, вручавший им — офицерам и солдатам тринадцатой заставы — приказы родины, лейтенант Алексей Лопатин был для них примером и любимым командиром в этой глуши. Радостно было следить его ровную, четкую походку, когда затянутый в скрипучие ремни, подобранный, всегда опрятный, он прежде чем войти в домик напротив, где жила его семья, долго прохаживался по двору заставы, осматривал свежееотрытые окопы, проверял настилки блокгаузов, прикидывал, где и как расположить дополнительные огневые точки, чтобы огонь станковых и ручных пулеметов перекрывал все ближние и дальние подступы к заставе.

Была ли уж такая острая необходимость в укреплениях, которыми опоясывалась молодая заставка? Чувствовал ли он — Лопатин, начальник маленького пограничного гарнизона заставы, ставшей со временем крепостью, неминуемое приближение войны? Руководился ли он в стремлении укрепить заставу как можно лучше, только указаниями уставов или еще чутьем опытного воина и политика?

Лопатин знал, что на новой советской территории — Западной Украине — среди масс населения, искренне

благодарного советской власти за свое освобождение, сохранились еще остатки немецкой «пятой колонны», издавна существовавшей на этих землях. Как-то раз Лопатин ездил по делам службы во Львов, и попутчики — местные жители рассказывали ему, что с первых же минут германо-польской войны немецкие диверсанты, поселенные во Львове, сигнальными ракетами показывали с земли летчикам «Юнкерсов» и «Хейнкелей», какие военные объекты они должны бомбить. Были среди пилотов немецких бомбардировщиков, скользивших над Львовом уже на рассвете 1 сентября 1939 года, и такие, что не нуждались в точном целеуказании с земли. Потомки зиммерштейнов, клепперов, бизанцев и других родовитых немецких фамилий, живших во Львове еще со времен Магдебургского права, они эти спортивного вида юноши, отлично говорившие по-украински и по-польски, обученные вождению спортивных самолетов, незадолго перед войной спешно выезжали в туристскую прогулку по Германии. Они пытались вернуться оттуда к своим родным уже без железнодорожных билетов, но в униформе германской армии. Именно благодаря их отличному знакомству с аэродромом в Скнилове, поблизости Львова, немало новейших польских бомбардировщиков марки «Лось» так и не смогли взлететь в воздух и, разбитые немецкими бомбами, превратились в груды горящих обломков еще на земле.

Лопатин знал, что в числе многих тысяч беженцев, хлынувших в Западную Украину из центральных районов Польши под защиту Красной Армии, просачивались одиночки — немецкие шпионы. Они на все лады ругали Гитлера, говорили только любезности советским людям и особенно военным, называли их своими спасителями, скрывая под удобной для обмана маской людей, якобы обиженных фашизмом, тайные разведывательные цели германского генерального штаба.

Чем сильнее укреплялась советская пограничная линия, тем все труднее было всей этой продажной швали в ближнем советском тылу сообщаться со своими хозяевами в Кракове и Берлине. Немецкие лазутчики, желая пробиться к своим, собираются в шайки.

...Однажды, на рассвете, когда долина Буга была затянута густым туманом, воспитанник Лопатина, старший ефрейтор Конкин услышал шум у самого берега

реки. Он подобрался ближе, к месту, откуда слышался шум, и в расплывшемся тумане увидел, что вооруженная группа, человек в семьдесят, готовится перейти границу. Оттуда, с немецкой стороны, подплывали лодки, высланные навстречу нарушителям. Вооруженные до зубов, они поспешно садились в лодки, готовые отчалить.

Давать ракету, звать подмогу, с заставы было уже поздно. Неуклюжий и мешковатый, с первого взгляда, Конкин решает напасть на банду вдвоем с ефрейтором Песковым. С громкими криками «ура» два пограничника забрасывают нарушителей гранатами, расстреливают их в упор из только что полученных заставой автоматов ППД.

Появление из тумана двух пограничников в зеленых фуражках оказалось настолько неожиданным, что вооруженные диверсанты не успели даже как следует огрызнуться. Роняя немецкое оружие, опрокидывая влопыхах лодки, прыгая с берега прямо в холодную воду, они силятся как можно скорее переплыть Буг, уйти на тот заволоченный туманом правый его берег, где с нетерпением ожидают их перехода предупрежденные по радио офицеры «Абвер-два» — немецкой разведки.

Тринадцать трупов нарушителей, убитых Конкиным и Песковым в то утро, подберут над Бугом прибежавшие на тревогу люди тринадцатой заставы. Сколько же немецких агентов унесла еще быстрая вода Буга — трудно сказать.

Награжденные за свой подвиг боевыми медалями, пограничники уезжают во внеочередной отпуск, на родину, а слава об их умелых действиях, еще за несколько месяцев до войны, укрепляет боевую репутацию заставы и ее начальника, умеющего быстро воспитывать из своих подчиненных таких отважных воинов.

Лопатину помогали в этом воспитании другие офицеры заставы и прежде всего ее политический руководитель — Павел Гласов. Младший лейтенант пограничных войск, Павел Гласов родился в деревне Филисово Родниковского района, Ивановской области, и приходился земляком Лопатину. Можно было бы сказать, что заставой возле Скоморох командовали ивановцы, люди области, где некогда один из организаторов Красной Армии, Михаил Фрунзе, подбирал пополнение в славную Чапаевскую дивизию.

...Все они: офицеры, бойцы и женщины маленького пограничного гарнизона интересовались, как живет соседнее село Скоморохи, захаживали туда частенько на досуге, помогали собственным опытом, добрыми советами его молодому колхозу. Впервые в истории старинного села люди, поселившиеся в стенах панского фольварка, стали друзьями и советчиками для окрестных крестьян.

Так начиналась новая история села Скоморохи, на земле которого всокоре суждено было свершиться событию, затмившему своей значительностью и ослепительным сиянием человеческой доблести все остальное, самое памятное, что происходило здесь раньше и началось с далеких, еще княжеских времен.

Но обо всем, что совершили здесь шесть лет назад люди и защитники тринадцатой пограничной заставы, надо рассказать по порядку...

## 2. ЗАЩИТНИКИ МАЛЕНЬКОЙ КРЕПОСТИ

В ночь с 21 на 22 июня 1941 года в окнах тринадцатой заставы долго светились огни. Одни бойцы, отдыхая после нарядов, спали. Другие, готовясь уйти к границе, надевали снаряжение, проверяли новые автоматы.

Свободные от нарядов люди собрались в ленинской комнате и вместе с политруком Павлом Гласовым слушали рассказы только что прибывших из Владимира-Волынского пограничников. А те, вернувшись после учебных сборов в родную заставу, охотно рассказывали о своей жизни на курсах, о том, что нового на других заставах отряда.

Как всегда перед воскресным днем, до поздней ночи топилась баня. Любители попариться, полежать на верхней полке, похлестать себя березовым веником, поохать, да покрикивать «поддай еще парку!» — задерживали остальных.

Евдокия Гласова сумела лишь к часу ночи выжать волосы, причесаться и, закрыв голову полотенцем, выйти во двор.

От Буга тянуло прохладой. Далеко на лугу пели, надрываясь, соловьи. Похрупывали овсом лошади в конюшне.

Банный зной, а потом холодная вода, которой оплеснулась напоследок Гласова, разогнали в ней жела-

ние сна. Не заходя домой, она поднялась по ступенькам в заставу и увидела там среди бойцов знакомое лицо мужа.

Он сидел улыбаясь, слушая прибывших. Был он ей попрежнему мил, как и в тот памятный вечер, когда она познакомилась с ним в селе Филисово. Он приехал в родное село на побывку к отцу и матери, молодцеватый, одетый во все новое, младший лейтенант пограничных войск. Знакомясь с ней, с сельской учительницей, Павел Гласов козырнул по-военному и, пожмая её руку, посмотрел очень уж внимательным взглядом. Позже, когда она стала его женой, Евдокия Гласова часто вспоминала этот первый взгляд, решивший многое в её жизни.

Сейчас, прислушиваясь к разговорам прибывших, Гласова села на скамеечку, чтобы подождать, когда муж освободится, и они вместе пойдут домой ужинать.

Изо всего услышанного той ночью на заставе Евдокия Гласова особенно хорошо запомнила слова бойца Сорокина. Перед тем, как уйти в наряд, он сказал политруку Гласову:

— Эх, товарищ политрук, вы знаете — никогда я от заданий не отказывался, в любую бы операцию пошел, а вот сегодня — очень щемит сердце. Не хочется мне что-то к Бугу итти, хоть ты плачь!

Гласов молча, внимательно посмотрел на Сорокина и ничего не сказал ему. Политрук знал, что слова эти никак не отразятся на поведении Сорокина, дисциплинированного бойца, который совсем не нуждался в дополнительных разъяснениях, или в том, чтобы его журили, как Косарева. Так и случилось. Будто стыдясь минутной слабости, Сорокин схватил автомат и быстрее обычного вышел на крыльцо, вслед за другими пограничниками. Только ли необъяснимое предчувствие вызвало эти прощальные слова Сорокина?

Конечно, нет.

Как и многие бывалые и любознательные пограничники, он знал, что уже с 7 апреля 1941 года немцы начали подтягивать к Бугу крупные силы. Перебежчики из Забужья рассказывали, что в монастыре Бернардинов напротив Сокаля немцы расположили целую дивизию. Иногда, когда ветер дул с Забужья, можно было услышать ворчание немецких танков, возню фашистских

артиллеристов, что устанавливали поблизости границы свои орудия.

Жизнь на границе становилась все напряженнее, и сознание того, что им первым, если начнется война, придется отбивать внезапные удары, и вызывало фразы, подобные той, что сказал своему политруку, уходя в дозор, боец Сорокин.

...Разбуженная близким разрывом снаряда и звоном стекол, пойманных занавеской, Евдокия Гласова вспомнила слова Сорокина, перебегая по темному двору из квартиры в здание заставы. Вспомнила она слова бойца еще и потому, что, погибая там на берегу Буга, на передовой линии границы, ставшей отныне фронтом второй мировой войны, Сорокин одну за другой пускал в небо красные сигнальные ракеты, до последнего дыхания давая знать заставе о продвижении немцев.

Рядом с Гласовой бежала на заставу полуодетая Анфиса Лопатина. Она прижимала к себе месячного ребенка Толю. В свете рвущихся поодаль на полях снарядов Гласова видела и слышала, как, наклонив над плачущим малышом лицо, сиюсья перекричать гул войны, Анфиса уговаривала сына: «Тише! Тише!» Как будто он что-либо уже соображал тогда, маленький гражданин села Скоморохи и участник его новой истории! Около, спотыкаясь и держась за рубашку матери, бежал трехлетний Славик Лопатин. Его ноги то и дело разъезжались по росистой траве, но он, сразу повзрослевший, силился не отставать.

Семья заместителя начальника заставы лейтенанта Погорелова жила за линией проволочных заграждений на частной квартире в селе Скоморохи. После первых выстрелов жена лейтенанта Евдокия Погорелова хотела было спрятаться, вместе с дочерью Светланой в крестьянском подвале, но потом, передумав, перебросила через плечо автомат мужа и позже всех побежала на заставу.

— Женщины, война! — успела только услышать она от мужа два этих и без того пришедших ей на ум слова. Лейтенант Григорий Погорелов выхватил у нее автомат и вместе с бойцами выбежал из здания. Лопатин послал его с группой пограничников на помощь левому флангу, откуда шли в воздух тревожные красные ракеты Сорокина. Вскоре заставка услышала частую стрельбу советских автоматов. Это вязывался в бой лейтенант



Погорелов. Сражаясь до последнего патрона, лежа там, в мягкой прибрежной траве, лейтенант Погорелов и его восемь бойцов остались там, на границе, не отступив назад. Лишь двое пограничников из этой группы, раненые свидетели и участники ее боя, пробрались с трудом на заставу. Истекающий кровью, раненый пограничник Давыдов, учитель в прошлом, рассказал начальнику заставы Лопатину, что группа Погорелова погибла.

В это предрассветное время, когда прибывали на заставу такие печальные вести, круговая оборона ее уже была закончена. Бойцы и командиры располагались в блоказах, блиндажах, окружающих со всех сторон высокое кирпичное здание заставы. Внутри этого здания женщины разбирали часть кухонной печки и заделывали кирпичами окна нижнего этажа, обращенные к Бугу.

Серый свет наступающего дня соединялся с багровыми отблесками пылающих рядом построек заставы. Горела баня, в которой еще так недавно мирно парились бойцы, пылали разбитые снарядами остатки квартир офицеров, загорались медленно сараи. Бродили по двору выгнанные огнем лошади и коровы. То захлебывались в лае, то выли, задрав к небу острые морды, умные овчарки.

Бесполезно пытался связаться с комендатурой и соседними заставами лейтенант Лопатин. Зря крутил он ручку полевого телефона и долго дул в трубку. Телефонная связь была прервана и уже не восстанавливалась больше никогда.

...Немцы предполагали взять заставу с ходу и в лоб. Серые и в предрассветном сумраке, они шли по лугу со стороны Буга. Правда, им пересекала путь еще маленькая, обрывистая речушка Млынарка, но что им стоило с ходу перепрыгнуть ее и полезть по склону холма уже к самому зданию?

Но только обозначились ранцы на спинах бегущих немцев, пулеметчики Конкин и Песков открыли прицельный огонь из левого углового блоказа. Стало видно, как первые, скошенные огнем станкового пулемета, немцы валяются на мокрый луг, а другие, затоптавшись в недоумении на одном месте, поворачивают и бегут обратно, к Бугу, к спасительной полоске утреннего тумана, прикрывающей переправы.

— Берн коня и скачи в комендатуру. Через Ильковичи! — приказал Лопатин бойцу Перепечкину. Тот поймал бродившую по двору лошадь и, звякнув стремянами, скрылся в ложине, держа направление на восток.

— «Ну, теперь-то, наверное, прибудет подкрепление!» — думали многие люди заставы. Перепечкин был хороший конник и сообразительный боец, понявший с полуслова, зачем его посылают в комендатуру. Ни у кого не было сомнения в том, что комендант, узнав положение на заставе и выслушав Перепечкина, вышлет сюда подмогу.

Немцы на лугу затихли. Через несколько минут возле Илькович, в том направлении, куда помчался Перепечкин, послышались выстрелы. Потом они передвинулись правее, и вскоре на взмыленном коне связной влетел во двор заставы.

— В Ильковичах уже немцы, товарищ лейтенант, правее — тоже, — доложил Перепечкин Лопатину, — я не мог пробиться. Похоже — мы окружены.

Так гарнизон тринадцатой заставы уже в первое утро войны узнал горькую правду о своем полном окружении. Со временем правда эта стала еще более очевидной.

Немцы повели огонь по заставе отовсюду: со стороны Буга, от сел Свитажув и Ильковичи, расположенных гораздо южнее, и от Бараньих Перетоков и Стенятина, которые лежали восточнее.

— Будем драться до последнего, но покуда живы — фашистам заставу не отдадим! — сказал пограничникам младший лейтенант Гласов. Эти его слова были приняты маленьким гарнизоном как лозунг и как боевой приказ. Они передавались от одного бойца к другому. Ходами сообщения они достигали отдаленных блокаузов, где, припав к двум станковым пулеметам, следили за врагом опытные пулеметчики. Пока вели огонь только они. Стрелки молчали, берегли патроны.

Вселяя во всех уверенность, что подмога рано или поздно прибудет, лейтенант Лопатин уже тогда, в первое утро войны, понимал, что бои будут жестокими и затяжными, и потому надо сберечь особенно дорогие для пограничников, окруженных врагами, патроны.

Внизу за Сокалем, в Подзимержском лесу и выше, на северо-восток, ближе к Владимиру-Вольнскому, слы-

шалась орудийная канонада. Обтекая пограничные заставы, натываясь на неожиданное сопротивление затерянных в лесах укрепленных советских гарнизонов, оставляя их у себя в тылу, гитлеровцы главными силами двигались ко Львову, Луцку, Раве-Русской. На сравнительно небольшой участок границы от Сокаля до Владимира-Волынского они бросили свыше восьми дивизий, уже привычных шагать без особенных задержек и сопротивления по странам Европы.

Планируя вторжение в леса Сокальщины, быстрый захват Владимира-Волынского, марш по шоссе на Луцк, немецкие генералы учитывали все, кроме сопротивления советских войск.

Тем более казалось им странным, бессмысленным, невозможным сопротивление маленькой пограничной заставы, расположенной на высоком мысу вблизи Буга. Но люди заставы все время давали знать о себе, оставая в оврагах и на лугу десятки мертвых немецких солдат. По планам немецкого командования эти убитые непредусмотренно фашисты должны были победно маршировать по Львову, брать Киев и вступать в Москву, как ветераны этой очередной русской кампании. А сейчас даже зарыть их было нельзя или оттащить в тыл. Пулеметные очереди пограничников сваливали всякого, кто подползал к подстреленным фашистам.

И вот тогда-то, еще в первое утро войны, у гитлеровцев появляются сомнения: «А не подвох ли это? Быть может над широким заливным лугом, над пограничными холмами и оврагами господствует не обычная застава, а огромный ДОТ с большим гарнизоном, хитро запрятанным большевиками глубоко в земле под кирпичным зданием старинного фольварка, того самого, что обозначен на всех картах германского генерального штаба еще с XIX века?»

Несколько обескураженные таким предположением, немецкие генералы посылают разведчиков-офицеров в соседние села. Офицер немецкой разведки пробирается задом, вместе с охраной в село Скоморохи. Живы до сих пор еще люди, хорошо запомнившие этот визит.

Офицер-немец и его охрана обходят хату за хатой и, стоит им только отыскать кого-либо из жителей, задают им всем приблизительно один и тот же вопрос: «Сколько русских солдат и командиров в том вон ук-

реплении, что краснеет на мысу, около села Скомо-рохи?».

Большинство крестьян не знает немецкого языка. В лучшем случае самые грамотные из них, помнящие еще времена Австро-Венгрии, отрицательно качают головами и говорят: «Нихт ферштейе». Немецкий офицер вынимает записную книжку, карандашик, прикрепленный к ней на цепочке, и пишет цифру «100».

Он вопросительно смотрит в лицо спрашиваемого и рукой показывает на заставу. Крестьянин качает головой. Немец выводит «200». Снова пристальный взгляд брезгливых и настороженных немецких глаз. «Нейн» — говорит крестьянин.

В книжке появляется цифра «1000». На последнем нуле карандашик офицера ломается. Из заставы застрочил станковый пулемет.

Ничего толком не разузнав, офицер-разведчик покидает Скомоорохи, повидимому окончательно убежденный в том, что на пути продвижения гитлеровских войск остался крупный советский гарнизон. Уже добрая сотня немцев нашла смерть от его пуль, а скольких еще может ждать такая участь? Если силы этой хорошо скрытой в земле крепости и впрямь превышают тысячу человек, то русские смогут переходить в контратаки и путать планы германского командования.

Фашисты подговаривают одного из своих проводников, местного, штатского человека, чтобы он повел переговоры с гарнизоном заставы о ее капитуляции. Помахивая белым флагом, новоиспеченный «парламентер» бодро шагает к знакомому ему издавна фольварку, над которым все еще вьется алое, советское знамя.

«Парламентер» чувствует за собою силу пославших его немцев и предвкушает награду, которую выдадут они ему, если большевики в зеленых фуражках сложат оружие.

— С бандитами в переговоры не вступать! — сказал Лопатин, когда ему доложили о приближении «парламентера». Заместитель политрука, ленинградец Голченков, коротенькой сухой очередью свалил немецкого посланца на землю, прежде чем белый флаг в его руках приблизился к воротам заставы. Очередь, пущенная руками Голченкова, была одновременно ответом и вызовом. Озлобленные немцы поняли, что их затея взять

заставу хитростью — сорвалась. Со всех сторон они повели стрельбу. Смертельно ранен в блокгаузе боец Дариченко. Скрывают от офицеров ранения пограничники Егоров и Сергеев, чудом приползшие только что с правого фланга. Подпрыгивает и все переползает влево в руках пограничника-москвича Герасимова пулеметная лента. Он подает патроны Голченкову, а тот, навалившись грудью на рукоятки «Максима», ровно поводя его стволом, кладет то на лугу, то на гребнях спадающих от села бугров новых немцев. Нескольким из них все же удается подползти за складами местности к блокгаузу. Сильные взрывы один за другим сотрясают воздух.

Их слышат женщины, замуравывающие поспешно окна в здании заставы. «Неужели мины?» думает кое-кто из них и бойцы под земляными настилами. Те же из пограничников, кто следит за полем боя, передают по цепи приятную новость: «Наши немцев под самым блокгаузом гранатами забросали. Портки немецкие в воздух пошли!»

Гитлеровцы опять откатываются подальше за прикрытия, они хоронятся в улочках Скоморох, уползают на кладбище, где белеют покосившиеся кресты и можно, не окапываясь, укрыться за могильными бугорками.

Скрепя сердце и нарушая планы высшего командования, кто-то из немецких военачальников отдает приказ подвезти к Скоморохам артиллерию. Гитлеровцы подвозят сюда и устанавливают орудия, которым следовало бы ехать дальше, с войсками, на Радзехов, на Каменку-Струмилову, вести огонь по главным силам советских войск, а не по случайному гарнизону, не желающему сдаваться. Почти в упор, прямой наводкой, немецкие орудия бьют по тринадцатой заставе. Снаряд за снарядом летят к старинному зданию, истекающему кирпичной пылью. Обрушиваются верхние два этажа заставы. Груды кирпичей, известки, междуэтажных перекрытий, балки, положенные здесь еще во времена Марии-Терезы, — все это обваливается вниз, на первый, соединенный с подвалами этаж. Столб пыли долго висит в воздухе, смешиваясь с дымом, ползущим от сараев. Со стороны кажется: все. Застава разбита окончательно. Ведь только труба одинокого дымохода торчит упрямо кверху посреди голых и наполовину обрушившихся стен...

Немцы с воем идут на приступ. Они кричат «хох», потрясая черными автоматами. Рукава их летних гимнастеров засучены, как на воскресной прогулке. Но опять спокойно, как ни в чем не бывало, стрекочут автоматы и пулеметы, словно песню поют мужеству и бесстрашию пограничников. Кувыркаясь в чистом воздухе, летят из крайних ходов сообщения к подножью холма гранаты. Их разрывы душат немецкие выкрики, а когда опять тихо делается на лугу, все видят, как уползают в разные стороны фашисты. Им опять не повезло...

Сами того не подозревая, уничтожая снарядами два верхних этажа основного здания заставы, гитлеровцы только оказали услугу пограничникам. Своды первого, полуподвального этажа старинной монастырской кладки с овальными опорами прекрасно выдержали всю тяжесть упавшего на них груза. На здании заставы, правда, уменьшенном, образовалась как бы непроницаемая шапка из строительного материала. Отныне она стала защищать, во всяком случае сверху, собранный внизу гарнизон не только от крупнокалиберных снарядов, но даже могла бы успешно выдержать прямые попадания авиационных бомб. Стены же нижней части здания были прочны, они стояли на хороших фундаментах. В глубь их, под землю, уходили старинные винные подвалы.

### 3. ОНИ ВЕРИЛИ В ПОБЕДУ

Немецкое командование передало в соседние села приказ о том, что кто из крестьян будет помогать людям тринадцатой заставы, того расстреляют немедленно.

Отныне застава могла рассчитывать до прихода пополнений только на свои собственные силы. Отрезанный ото всей остальной сражающейся страны, не знающий ровным счетом ничего о течении войны, маленький гарнизон пограничников оставался наедине со своей совестью. Его офицерами, рядовыми бойцами и женщинами руководило великое чувство воинского долга советского патриотизма, глубокой преданности родине, которая принимала там, где-то позади, тяжелый бой с врагом, напавшим на ее поля подло и внезапно.

— Ничего, женщины, не горюйте! Победа все равно будет за нами! — успокаивали наперебой бойцы и командиры матерей, хлопотавших внутри здания около своих детей — маленьких граждан самого маленького неприкосновенного государства, каким по существу оказалась застава. Пограничники не знали, что эту вещую фразу из простых четырех слов «Победа будет за нами!» скажет через несколько дней в далеком Кремле Сталин, и она, подобно животворящей силе, цементирует чувства и помыслы всех советских людей, где бы они ни находились. Это ощущение большой уверенности в победе рождалось уже тогда на передовых, отрезанных от всей страны заставах, уже обреченных на гибель, и незримыми токами передавалось сквозь линию передвигающегося фронта до стен Кремля, откуда со временем народ услышал слова вождя, выразившие эти ощущения предельно точно.

«Если бы в эти дни, — вспоминают очевидцы сопротивления заставы, — кто-либо из тринадцатой только заикнулся, что надо сдаться немцам — его бы придушили, как гадину!»

На второй день обороны, когда пограничники лежали у пулеметов и винтовок, ожидая начала новой атаки, на проселочной дороге, ведущей из Сокаля, слышался треск мотоциклетных моторов.

По дороге мчались два немецких мотоциклиста. Были они в легких зеленоватых блузах, с засученными рукавами, в больших очках, с автоматами на груди. Должно быть решив, что люди заставы еще в первый день войны погибли, мотоциклист круто повернул машину к воротам. Второй поехал следом.

Очередь из пулемета. Вторая. Третья. По жестким и удивительно экономным очередям бойцы узнают «почерк» Голченкова. Еще секунду назад проворные и уверенные в себе, красные от загара и шнапса, мотоциклисты, корчась в предсмертной агонии, валялись в начале двора, и колеса их мотоциклов, поблескивая спицами, долго вертелись в воздухе, как бы сляясь нащупать ускользнувшую внезапно почву.

Гласов послал к мотоциклам Косарева и Перепечкина. Они сняли с убитых автоматы, документы, карты и отвернули с мотоциклов рации... Косарев притащил еще тючок с одеждой, которая была пристегнута к ба-

гажнику одного из мотоциклов, и, протягивая его Анфисе Лопатиной, сказал, улыбаясь:

— А этот трофей вам! Обмундировывайтесь!

В пакете были парадные офицерские брюки и зеленоватый шерстяной свитер военного образца. Все это было как нельзя кстати для Лопатиной. Она выбежала из квартиры полураздетая, все ее вещи сгорели, и сейчас женщины сшили ей из офицерских брюк юбку. Свитер пришелся ей впору без переделок.

И Лопатин, и Гласов возлагали большие надежды на радики, снятые с мотоциклов. Они предполагали, что теперь-то смогут связаться со своими по радио, но радист Беланов, покопавшись около радиий, огорчил всех. Они были неисправны. В них недоставало ламп.

...На пятый день войны, в четверг 26 июня, под вечер лейтенант Алексей Лопатин решил еще раз связаться со своими частями. Он вызвал к себе Голченкова и его второго номера, пограничника-москвича Герасимова, сдружившихся еще больше в бою, у пулемета, уроженцев двух самых больших городов Союза — Ленинграда и Москвы. Жизнь в этих городах отличала и Голченкова и Герасимова особой сметливостью. Это были расторопные, находчивые пограничники.

— Пробейтесь к нашим во что бы то ни стало. Пусть пришлют за нами самолеты, если они уже далеко! — сказал Лопатин. Тут же условились: если Голченкову и Герасимову посчастливится добраться до советского командования, они расскажут ему просьбу Лопатина. Просьба эта могла быть выполнима. Луг, лежавший перед заставой, мог служить хорошей посадочной площадкой даже для транспортных самолетов. Договорились, что когда самолеты появятся в небе, тринадцатая застава будет пускать зеленые ракеты, показывая себя. Летчики, — те должны будут дать несколько ответных сигналов очередями из автоматов.

Голченков вытащил из кармана документы и записную книжку. Все это, а в том числе свою кандидатскую карточку, он оставил на хранение Гласову. Чтобы легче и быстрее было идти, Голченков и Герасимов надели тапочки. Еще так недавно они надевали их в дни мирных спортивных состязаний. Сейчас эти легкие тапочки на лосевой подошве должны были помочь им выполнить приказ Лопатина. Удалось ли добраться им лесными



тропами, болотами, проселочными дорогами зеленой Во-  
лыни к арьергардным частям Красной Армии, сдержи-  
вающим наступление гитлеровцев,—неизвестно. К это-  
му времени Владимир-Волынский был уже взят танка-  
ми, а немецкие мотоциклисты пытались прорваться к  
Луцку по ровному шоссе.

На вторые сутки после того, как Голченков и Гераси-  
мов покинули заставу, ее защитники услышали гул  
авиационных моторов. «Неужели дошли? А вдруг это  
за нами?» — подумали все.

В предвечернем небе, слегка затянутом на западе  
облаками, над заставой закружились пять самолетов.  
Их очертания несколько напоминали контуры советских  
бомбардировщиков. Отовсюду — из ходов сообщения,  
с крыльца заставы полетели в воздух зеленые ракеты.  
Как бы в ответ высоко в небе послышались выстрелы...

Был ли то впрямь ответный сигнал? Или — слуховая  
галлюцинация? А может, просто — немецкие самолеты  
осматривали с воздуха упрямую заставу, и летчики ре-  
шали — стоит ли ее бомбить и походя обстреляли ее  
из пулеметов? Или в самом деле это летали советские  
бомбардировщики, и пилоты их определяли — можно  
ли будет приземлиться на лугу?

Трудно ответить сейчас на все эти вопросы правдиво  
и определенно, тем более спустя шесть лет после нача-  
ла страшнейшей из войн, какие знала история...

#### 4. КЛЯТВА В ТУМАНЕ

Темнота наступающей ночи не принесла желанного  
освобождения. Как стемнело — завязался бой. Отчаян-  
ный. Освещая двор заставы белыми ракетами, немцы  
опять лезли на приступ, скрытые темнотой. Их отшвы-  
ривали огнем станковых и ручных пулеметов, их забра-  
сывали гранатами, ходы сообщения и блокаузы были  
засыпаны стреляными гильзами.

Утомленный боем и бессонными ночами, Павел Гла-  
сов приполз в заставу, чтобы попить воды. Он утолил  
жажду и пробрался в темный, без единого окна отсек  
первого этажа и присел там в углу покурить.

Немецкий снаряд, с треском пробивая кирпичную  
кладку, рвется рядом. Окровавленный Гласов падает на  
пыльный холодный пол. Плачущая жена, все еще на-

деясь, что ей удастся спасти мужа, при свете электрического фонарика перевязывает голову простыней, сложенной вчетверо. Гласов умирает у нее на руках. Рядом, чуть-чуть пониже, стонут в подвале тяжело раненные пограничники Данилин и Дориченко. Они было воспрянули духом, прослышав, что возможно этой ночью прилетят и за ними самолеты.

Ночь же проходит в сплошной перестрелке, во вспышках ракет и снарядов, зарывающихся в кирпич, уже насквозь пропахший порохом.

Рано утром уже все знают, что убили Гласова. Убит Гласов — душа заставы, любимый друг пограничников, их советчик, большевик... Забинтованный, лежит он в полутьме бастиона, под старинными сводами фольварка, ставшего крепостью, и товарищи по оружию один за другим приползают сюда в прохладу подземелья из отдаленных блиндажей прощаться с простым крестьянским парнем из деревни Филисово, который волею советской власти стал лучшим помощником начальника пограничного гарнизона, представителем коммунистической партии на маленьком клочке украинской земли, оставшейся советской в глубоком тылу врага, где все еще развевается простреленное и задымленное государственное знамя Советского Союза..

Должно быть в бинокли немцы видят развороченный ночным снарядом угол здания заставы. Наверное, кто-нибудь из них, обманутый тишиной на дворе фольварка, докладывает по начальству, что на этот раз все кончено: сопротивление советского гарнизона подавлено раз и навсегда.

Уже после завтрака, часам к десяти утра, из-за бугра, на дороге, ведущей из Сокаля, показывается немецкая штабная машина под брезентовым тентом. Шофер ведет ее прямо к фольварку, тем самым маршрутом, по которому некогда мчались и не доехали мотоциклисты. Застава молчит, но уже схвачены пальцами пограничников запотелые рукоятки пулеметов, приклады винтовок прижимаются к небритым, запыленным щекам бойцов и офицеров.

Все ближе и ближе машина... Видны уже мундиры сидящих в ней высших офицеров, поблескивают ордена на их груди. Шофер в пилотке крутит баранку, принаравливаясь, как бы половчее и с шиком въехать во

двор. И в эту минуту упрямая застава оживает снова скороговоркой пулеметов, винтовочными выстрелами. Кто-то не удержался и метнул навстречу машине гранату, но она, не долетев, рвется под колючей проволокой. Вдребезги разлетается ветровое стекло машины, мечутся в ней офицеры. Виляя, машина зигзагами мчится обратно, и мотор ее глохнет в глубокой лощине.

...Шел восьмой день обороны заставы. Смерть ее полтрука сильно отразилась на душевном состоянии Алексея Лопатина. Часто в глазах его бойцы замечали большую тоску, иногда он говорил одно, а думал, должно быть, о другом... Худой, истощенный, измученный, если немцы откатывались и залегали за гребнями, начальник тринадцатой заставы присаживался либо на землю в блокгаузе, либо под кирпичной стеной в здании и подолгу смотрел в одну точку, шевеля изредка губами, будто разговаривая сам с собою.

Раньше его другом и советчиком был Павел Гласов. Сейчас любое решение Лопатин должен был принимать один. А решения надо было принимать во что бы то ни стало, не боясь ответственности ни за их новизну, ни за последствия. На заставе были раненые, женщины, дети. Они, несомненно, связывали пограничников, готовых, если понадобится, умирать — но с оружием в руках. Кончился хлеб, не было уже муки. Еще оставалась, правда, крупа, но готовить ее было не на чем...

На рубеже девятого дня сопротивления, в воскресенье 29 июня, в тот самый день, когда немцы уже захватывали Львов, лейтенант Алексей Лопатин сказал очень трудную для него фразу:

— Будем выходить! Попробуем пробиться сами!..

Решили выйти двумя отрядами, разделить между собой раненых и после, за линией сцепления, соединиться возле села Стенятин, в условленном месте и дальше пробиваться сообща. Договорились, что при движении днем мужчины будут пробираться на восток лесами, перелесками, огородами и полями, огибая населенные пункты, а женщины с детьми, идя открыто, попробуют также добывать для них пищу и ночью передавать ее пограничникам. Никто не знал, где фронт, какие города взяты, какие обороняются. Никто не мог подсказать, какими дорогами удобнее и безопаснее всего можно

итти ночью. Знали общее направление: на восток, на Киев, на Москву, — до первой встречи с людьми в зеленых фуражках!

Группе старшины Клещенко предстояло пробираться из заставы сразу на восток, к селу Бараньи Перетоки, к Стенятину, и там, если позволит обстановка, ждать остальных. В группу старшины Клещенко входили раненые пограничники Конкин, Никитин, Давыдов и старуха — мать Лопатина.

Сам начальник заставы — лейтенант Лопатин — пошел выводить женщин с детьми и других раненых через ход сообщения, идущий к левому блокгаузу, окольным направлением на Сокаль.

...Медленно, в полной темноте, затаив дыхание, легко переступая ногами в узком проходе, шли женщины, дети, а за ними здоровые и раненые бойцы. Укачивала на руках грудного ребенка Анфиса Лопатина, готовая каждую минуту, если только он пикнет, зажать ему рот. Сдерживали стоны раненые.

Удивительно длинным и тягостным казался всем этот короткий путь в настороженной тишине ночи по земляному ходу от родной заставы навстречу неопределенности. Пограничники и женщины уже стали выбираться на волю из тесного и прохладного блокгауза. На дворе было куда светлее. Переливались холодным, мерцающим светом звезды высоко в небе. Стонала выпь над Бугом, откуда подползал к заставе густой предутренний туман. Возле бани слышался явственный шум нескольких десятков ног. Шелестели бурьяны под ногами у идущих. Взвинченное, напряженное до предела сознание лейтенанта Лопатина могло подсказать ему лишь одну мысль: «Немцы! А что, если они проникнут через крыльцо в здание и накинутся на группу Клещенко?» И Лопатин повторил эту мысль вслух:

— В заставу! Это — немцы!

Когда же все они снова очутились под надежными сводами старинного фольварка, там уже не было ни одного человека.

Выждав положенное время, группа старшины Клещенко двинулась напрямик на Бараньи Перетоки. Шум шагов пограничников Алексей Лопатин и принял по ошибке за подползание немцев, за начало ночного штурма.

— Значит, это бойцы ушли! — сказал Лопатин и, прислонив ухо к амбразуре, стал прислушиваться. На дворе было тихо. Немцы либо спали, либо сняли вовсе на ночь караулы и разбрелись на ночлег по окрестным селам. Положенные на пол, тихонько стонали Данилин и Дориченко. Вдруг Дориченко начал хрипеть. Все поняли: начинается агония.

— Давайте бежать, Алексей Васильевич, — подползая к Лопатину, сказала Гласова. Лопатин молчал.

Что думал он в эти решительные минуты?

Наверное, он вспоминал все, что соединялось в его представлениях со священным понятием воинского долга в любых случаях, исключаящих из обихода плохое слово «бежать»? А быть может, торжественные звуки «Варяга», любимой его морской песни, которую бывало певали в Мальчихино старики, побывавшие на войне с японцами, проникали издалека в его сознание с зеленых лугов Ивановской области, где прошло его детство? Если песня эта с ее благородными словами пришла к нему оттуда в заставу у Буга, то наверное он вспоминал и рассказы о капитанах боевых кораблей, которые, следуя вековым традициям и чувству долга, остаются под обстрелом врага в одиночестве на задымленном мостике родного корабля и с ним вместе, умирая, но не сдаваясь, уходят на дно морское.

— Пойдемте, товарищ начальник! Скоро светать будет! — снова прикоснулась к Лопатину Гласова.

Дориченко уже умер. В его углу было тихо.

— Нет, Дуся, никуда мы не пойдем, — сказал твердо Лопатин, подымаясь, — вы идите, — вас, женщин, без военных, пожалуй, никто не тронет, а с нами еще могут убить. А мы здесь останемся!

...Прощались уже на крыльце. Туман поднялся еще выше. Сейчас он застилал белой, молочной пеленой весь двор заставы, скрывал очертания обгорелых конюшен, подбирался неслышно по вытоптаным ступенькам на побитое осколками каменное крыльцо. Казалось, не под развалинами дома они стоят, а на высокой, неприступной горе, пробивающейся к небу сквозь слой густых облаков.

Алексей Лопатин крепко поцеловал Славика, легко прикоснулся губами ко лбу Толи и, стараясь не разбудить его, осторожно с ним вместе обнял жену. Он про-

стился с другими женщинами, потрепал по волосам Светлану Погорелову и тихо сказал:

— Прощайте. Идите. Клянемся вам, что будем биться до последнего, но живыми немцам не сдадимся!

Ведя детей, женщины заставы осторожно спустились по каменным ступенькам на траву и пошли, словно в брод, мягко ступая по туману, в направлении, изведенном уже старшиной Клещенко.

Они то и дело оборачивались и видели начальника заставы. Лопатин, стоя на крыльце, смотрел им вслед долго, пока не скрылся в белом тумане.

...А утром, когда взошло солнце и последние клочья тумана, разгоняемые его лучами, расползались и таяли, оставляя мокрые следы на скрюченных трупах немцев, лежащих повсюду, — опять заговорили два станковых пулемета, и снова — нет-нет да и вторили им одинокие винтовочные выстрелы.

Маленькая горсточка пограничников — последние семь защитников заставы над Бугом — выполняли клятву Алексея Лопатина, данную и от их имени в предрастветном тумане.

Застава начинала девятый день обороны, понедельник 30 июня. В это утро немецкие войска с разных сторон входили во Львов, фашистские танки рвались наперерез Тернополю, приближаясь к старой государственной границе Советского Союза.

Старинное село Скоморохи оказалось уже в глубоком тылу гитлеровских войск. Но все попрежнему государственный флаг Советского Союза развевался над руинами фольварка, на высоком холме, запыленном кирпичной пылью.

Флаг этот жители окрестных сел видели отовсюду, с соседних возвышенностей до среды, до 2 июля 1941 года.

Лишь в этот одиннадцатый день обороны заставы гитлеровцам удалось подвести к стенам здания большую мину.

Гул сильного взрыва прокатился над заливными лугами у Буга, его слышали далеко в Польше, в Сокале, в Кристианополе. Только он, этот взрыв, оборвал земное существование семи храбрецов, прославивших здесь, на древней червонорусской земле, величие и стойкость советского человека...

## 5. ЖЕНЩИНЫ

Пограничников из группы старшины Клещенко женщины, прошедшие вместе со своими детьми благополучно линию немецкого оцепления, уже не догнали.

Грязные, усталые, держа на руках плачущих детей, они, как только рассвело, зашли в один двор села Стенятин попросить молока. Если бы они знали заранее, к кому заходят, возможно бы за десятки верст стороной обошли эту чисто выбеленную хату под крышей из оцинкованной жести. Владелец хаты уже успел поступить на службу в немецкую полицию. Он носил на пиджаке приколотый «гризубом» желто-голубой бант.

— Откуда? — спросил он угрюмо Гласову, выйдя на крыльцо хаты и позевывая. Он еще не опохмелился после вчерашней пьянки с немцем, приехавшим сюда организовывать «Лигеншафтс» на землях колхозов сел Скоморохи и Свитажуэ...

— Из заставы, — сказала Гласова, оглядываясь. — Продайте нам молока. Дети голодны!

— Из заставы? — протянул хозяин. — Ну что ж, поедем тогда! Он запряг подводу и повез трех женщин с детьми в Сокаль. Везя их, он наверное радовался, что может так легко выслужиться перед новым начальством, думал, велик ли будет куш, который выдадут ему немцы за поимку «опасных большевичек».

Еще не доезжая до Сокаля женщины услышали перестрелку возле Скоморох. То, начиная девятый день обороны, сдерживал клятву, данную в предутреннем тумане, лейтенант Алексей Лопатин. И, словно в ответ выстрелам пограничников, как далекое эхо прокатились орудийные выстрелы в лесах западнее Сокаля. Один. Другой. Третий. И завязалась там едва слышная пулеметная перестрелка.

Неужели там еще был фронт? Кто это мог стрелять спозаранку в лесу?

...Жены пограничников из тринадцатой заставы ставшие пленницами, не могли еще знать тогда то, что стало известно нам нынешней весной, шесть лет спустя.

Там, в лесной глуши, все еще упорно сопротивлялся немцам один из железобетонных ДОТ'ов советского укрепленного района. Люди его — бойцы и командиры, хотя и были лишены всякой связи с регулярными частя-

ми Красной Армии, вели бои с немцами еще дольше тринадцатой заставы: около месяца. Что не предпринимали гитлеровцы, но так им и не удавалось подавить сопротивление этого одинокого ДОТ'а, защищавшего в глубоком тылу честь советского оружия, маленький клочок украинской земли. Только на исходе июля 1941 года глубокой ночью фашисты тайно подвезли к серому, окруженному земляным валом, ДОТ'у баллоны с отравляющими веществами и, надев маски, пустили газы. То, что не смогли сделать немецкие фугасы, мины, пули, бомбы и дым, сделал газ.

Лейтенант пограничных войск Анатолий Озерян, обходя свой участок границы, обнаружил в лесу под развалинами взорванного немцами позже этого ДОТ'а останки его задушенного газом гарнизона. Лейтенант Озерян рассказал мне в мае 1947 года историю этого ДОТ'а — славного соратника тринадцатой заставы, приоткрывая таким образом завесу тайны над тем, что за канонаду слышали, подъезжая к Сокалю, в лесах западнее его, арестованные Гласова, Погорелова и Лопатина.

Прыгая на одной ноге по своему кабинету, украшенному портретом Адольфа Гитлера, окаймленного украинским рушником, расстегивая ворот вышитой сорочки, фюрер украинских полицейских на Сокальщине, то и дело замахиваясь на женщин костью, вопил:

— Так вы воевать сюда приехали, московские свиньи! Будет вам! Всех перевешаем во славу самостийной, соборной Украины!

Окруженные кольцом пьяных украинских фашистов, подталкиваемые автоматами, украинка Евдокия Погорелова и две землячки-ивановки Гласова и Лопатина, спотыкаясь, шли после первого допроса в бурсу—общезнание средней школы, превращенное в сборный пункт для задержанных советских людей. Давно, еще на подводе, проснулся и сейчас кричал на руках у Анфисы Лопатиной маленький Толя.

Здесь, в свете солнечного дня, Анфиса Лопатина видела хорошо его худое, закопченное сажей личико. Ребенка следовало бы помыть. Но разве можно было думать об этом! Просили ведь они молока, а стенятинский полицейский вместо этого вел их в тюрьму. Довольный собою, размахивая нагайкой, он шел рядом,—



зачинатель «соборной, самостийной Украины», доблестный охотник на беззащитных женщин и детей.

В подвале, куда привели женщин заставы, сидели в заключении общественники — активисты Сокаля и окрестных сел. Были среди них люди, воевавшие некогда с польскими жандармами — «пацификаторами» — узники довоенного польского концентрационного лагеря Береза-Картузская, были создатели колхозов на землях Сокальщины, кооператоры, агрономы, врачи, учителя, библиотекари. До ареста они слышали то затихающую, то возникающую снова перестрелку в районе тринадцатой заставы, знали, что она не сдалась немцам. Вести о сопротивлении заставы ободряли честных патриотов, оставшихся в немецком тылу. А сейчас люди заставы, жены ее защитников, оказались рядом с ними.

Тайком от охраны арестованные расспрашивали, как дерется застава, они помогали женщинам и детям, привезенным из Скоморох. Кто булку протянет, кто последним кусочком сала поделится, кто передаст по рукам из дальнего угла бутылку с молоком для голодных детей.

Тут, в подвале бурсы, три женщины нежданно встретились с матерью лейтенанта Лопатина. Благополучно пройдя линию немецкого оцепления, старуха, как оказалось, начала отставать от шагающих быстро молодых пограничников. Даже раненые Конкин и Никитин ее опережали, желая до рассвета укрыться в лесу. Тогда старуха взмолилась:

— Вы уж идите, сыночки, дальше сами, а я себе пошкандыбаю тихонечко в Сокаль. Свет не без добрых людей. Кому я нужна такая? Меня не тронут! А вам, молодым, я только обузой буду.

И она повернула вправо, к западу.

Однако и такая 78-летняя старуха оказалась опасной для одиночек-мерзавцев, поднявших голову с приходом немцев.

Вечером женщин заставы опять повели на допрос. И тут едва не погибла Анфиса Лопатина.

На главной площади Сокаля, уже переименованной в «Адольф Гитлер плятц», как раз возле редакции газеты «Українськи висти», которую стал издавать некий, прибывший с немцами Нестор Всеволод Рипецкий, к группе арестованных женщин, расталкивая украинских

полицейских, подошел рослый немецкий офицер в мундире войск СС. На черном околыше его фуражки с высокой тульей, под белым орлом с распростертыми крыльями виднелось изображение черепа и перекрещенных костей.

— Откуда? — тыкая пальцем в грудь Лопатиной, спросил офицер по-немецки. Украинский полицейский перевел вопрос, и он прозвучал так же, как и первое слово, которым встретили их сегодня в Стенятине.

Не желая напоминать офицеру о тринадцатой заставе, Анфиса Лопатина ответила уклончиво:

— Ивановской области, Мальчихинского сельсовета...

— Не то спрашиваю. Это — откуда? — и немец дернул Лопатину за край зеленоватого немецкого свитера...

...Несколько раз в этот день ставил Лопатину под стенку в подвалах сокальского отделения «Зихергейст-полицай» — или сокращенно — гестапо. Готовясь вот-вот ее расстрелять, палач Вилли Риман допытывался, как попала к ней вещь из обмундирования германского вермахта, но Анфиса упорно, в отчаянии твердила одно и то же: «Какой-то добрый немец сжалился над ее видом и подарил ей этот теплый свитер».

— Где он сейчас, этот благодетель?

— Пошел с отрядом к Владимиру-Вольнскому.

Лишь к вечеру, избитая, постаревшая сразу на добрых пять лет, пришла она под охраной в бурсу и сразу же бросилась к ребенку, что кричал на руках у сонной бабушки.

Спустя несколько дней женщины были отпущены с требованием обязательно являться на регистрации в полицию.

Все они пошли в Скоморохи и стали работать у крестьян то в этом селе, то в соседних, окружавших развалины тринадцатой заставы с запада и юга.

## 6. СУДЬБА ЖИВЫХ

Первым из жителей Скоморох, кто приютил жен пограничников вместе с их детьми, был счетовод колхоза Петро Баштык.

Коренной житель Сокальщины, украинец, он тоже едва не погиб от руки «строителей самостоятельной» в первые же недели после немецкого вторжения.

Семьи убитых Лопатина и Гласова жили в хате Петра Баштыка и встречали к себе хорошее отношение. Так же хорошо, по-человечески относились к пограничникам и детям героев бывшие колхозники семья Саганских — Тодора Саганская, ее муж и его зять Грицько Саганский, колхозник Антосюк, нынешний председатель сельсовета Скоморох Пиньковский и все те крестьяне, кому ненавистны были гитлеровцы и их прислужники. Шесть лет спустя во дворе тринадцатой пограничной заставы Евдокия Гласова, нынешний заседатель народного суда в Сокале, с большой теплотой в голосе назвала все эти перечисленные имена. Если открыто было помогать пограничникам опасно, то крестьяне Скоморох, чтобы не навлечь на себя преследование немцев, помогали им украдкой.

То, что все женщины и дети славной тринадцатой заставы, покинувшие ее на рассвете 29 июня 1941 года, остались живы и дождались возвращения Советской Армии, объясняется в первую очередь тем, что среди очень молодых советских граждан древнего села Скоморох, среди его украинского населения оказалось немало честных, благородных людей, сумевших сберечь свои сердца и сохранить совесть чистой в тяжелые годы немецкой оккупации.

Под страхом смерти гитлеровцы запрещали населению приближаться ко двору заставы, тем более, что их солдаты и офицеры, после того как была подорвана мина и пограничники уничтожены — побывали под развалинами и сделали все, что казалось им нужным для того, чтобы окончательно ликвидировать этот досадный инцидент первых недель войны.

Но память о муже и его соратниках помогла Евдокии Гласовой заглушить в себе чувство страха перед немцами.

В ноябре, когда упали на пожелтевшую землю первые холодные дожди, вместе с Петром Баштыком и Погореловой она пробирается тайком сюда, в подвал. Петр Баштык помогает Гласовой пролезть сквозь узенькую дыру, пробитую мародерами, побывавшими здесь раньше, в комнату, где оставила она мужа.

Гласова быстро находит в полутьме его истлевшее тело, опознавая политрука заставы по голове, все еще забинтованной простыней, сложенной вчетверо.

Она осматривает остатки его одежды и находит в заднем кармане брюк Гласова его партийный билет, кандидатскую карточку Голченкова, алое, покрытое темными кровяными пятнами воинское удостоверение младшего лейтенанта пограничных войск НКВД, политрука тринадцатой заставы, ее мужа—Павла, отца ее дочери.

Все эти документы Евдокия Гласова сбережет в укромном месте, и как только в июле 1944 года авангардные части Советской Армии ворвутся в Сокаль, отбрасывая немцев за Буг, Гласова пойдет разыскивать среди прибывших нового секретаря Сокальского районного комитета партии.

Евдокия Гласова успокоится лишь тогда, как найдет его и передаст ему — представителю партии — два партийных документа погибших смертью храбрых коммунистов тринадцатой заставы.

Но все это случится позже, спустя три года, когда сможет она свободно ходить по улицам Сокаля, не боясь нагаек немецких и украинских фашистов, не боясь, что ее будут травить собаками.

Там же, в полутьме бастиона, в страшное время немецкой оккупации, прижав к своей груди такие дорогие останки мужа, она с ужасом увидит, что у него нет ног.

Их отрезали вместе с новыми хромовыми сапогами мародеры, последователи Адольфа Гитлера. Как шакалы рылись они здесь, под руинами фольварка, в поисках легкой и безопасной уже тогда добычи, хватая, что попадется под руку — подушку так подушку, сапоги так сапоги. Но их прикосновения к мертвому Гласову, следы их торопливых, жадных рук, шаривших здесь в полутьме, наполненной еще кислотным пороховым запахом недавнего боя, не смогли запятнать славы погибших пограничников.

Слава эта всюду: и в круглых пулеметных гнездах, заросших бурьянами, пол которых окроплен кровью Дориченко и Данилина, и в левом блокгаузе, где умерал пограничник Косарев, и на далеком лугу, где сохранились еще обгорелые пеньки сторожевой вышки.

Эта пограничная боевая слава узнается в любом вещественном признаке того, что происходило здесь шесть лет назад.

Проходя по кирпичам, я подымаю две патронных гильзы русского образца. В донце одной из них, рас-

цветшей самоварчиком, еще цел капсуль. Должно быть она из остатков неизрасходованного боевого запаса, который рвался здесь после взрыва мины и пожара. Капсуль другой гильзы, ржавой, наполовину забитой глиной, сильно разбит бойком. Кажется мне, что в этом сильном ударе по капсулю есть частица большой пограничной ярости к подлецам, напавшим на советскую страну. Кто стрелял этим патроном? Песков? Дориченко? Давыдов? Или может юноша из Ленинграда, Голченков, срезал пулей из этого патрона пьяного ээсовца-мотоциклиста, который порывался заехать во двор советской пограничной заставы, как в свое собственное поместье?..

Гласова побывала здесь первой из женщин-пограничниц в ноябре. Ей удалось вытащить останки мужа из-под развалин и похоронить его кости на старинном сельском кладбище.

Значительно позже, уже весной 1942 года, едва ста-яд с полей снег, жены пограничников пришли сюда опять. Семь могил разрыли Погорелова и Лопатина в поисках мужей. Гласова им помогала. Погорелова тут не оказалось. Повидимому, так и остался на лугу, возле самого Буга, откуда расстреливал гитлеровцев, идущих к заставе.

В одной из могил, сверху, чуть присыпанный землей, лежал плашмя лейтенант Алексей Лопатин. Был он в ремнях портупей, стройный и после смерти, карманы его гимнастерки были выворочены: видно, немцы, вытащившие его труп из подвала, искали — чем бы можно поживиться у начальника заставы.

Женщины перенесли лейтенанта на сельское кладбище и там его похоронили.

— А Никитина я видела! — вдруг оживляясь, говорит Гласова, останавливаясь возле развалин бани. — Спустя несколько недель, когда мы уже работали у хозяев, в Скоморохах, туда пришел какой-то крестьянин из Сокаля и сказал, что в госпитале для военнопленных лежат два пограничника из тринадцатой заставы.

Опасно было идти в Сокаль, тем более еще поднадзорной. В памяти еще свежи были допросы в полиции, побои. А с другой стороны, так хотелось навестить боевых друзей, попавших в беду, узнать, что сделалось с остальными.

Гласова заматывает голову бинтами. Притворяясь тяжело больной, которой необходима медицинская помощь, идет она полевыми тропками в Сокаль и попадает на амбулаторный прием в госпиталь, где содержатся военнопленные. Местные люди помогают ей в коридоре у кабинета стоматолога увидеться с Никитиным. Он уже ходил. Конкин же, раненный в руку, ногу и бок, еще лежал на койке. Поймали их отдельно от всей группы, в колокольне села Зеленица, куда они забежали, увидев немцев.

— Ой, Гласова, что с тобой стало! — такими словами встретил жену политрука Никитин и, переходя на полушопот, сказал:

— Ну, Дуся, что делать — не знаю. Бросать Конкина одного не хочется, а я ведь уже совсем здоров, и меня могут не сегодня-завтра через Буг дальше в Германию повезти. А я хочу дожидаться, пока Конкин встанет, и к нашим махнуть, на восток. Один раз не удалось — другой раз быть может прорвемся. Немцам служить не будем!

С такими настроениями и покинула Гласова пограничника Никитина. Ничего больше о нем и Конкине она не слыхала...

Подполковник Андрей Касперович — первый, кто рассказал мне историю пограничной тринадцатой заставы — коренастый, плотный пограничник, белорусс, кавалер многих боевых орденов, приехавший с нами сюда, просит одного из хлопцев помоложе разрыть углубление в земле, где некогда, по словам крестьян, тоже были зарыты немцы.

Один удар лопатой, другой, и вдруг ее острие скрежет по железу. Мы отгребаем землю и сперва нам кажется, что это снаряд показывает свое донце из-под легкого слоя земли.

В футляре из гофрированной жести сохранился маленький немецкий противогаз образца 1941 года, видимо, висевший на боку у кого-то из убитых. Рядом с маской в футляре сложена клеенчатая противоопритная накидка и лежат несколько коробочек, внешне напоминающих кусочки сургуча, с белым порошком для дегазации.

И в том, что обладатель противогаза, гитлеровец, переплывший Буг на рассвете 22 июня 1941 года, не су-

мел пройти дальше по дорогам нашей страны, а был зарыт где-то здесь, около руин старинного фольварка, мы снова почувствовали дуновение пограничной славы, пробившейся к нам оттуда, сквозь эти последние, трудные и доблестные шесть лет...

Двое людей, высоко поднявшие знамя этой славы, Лопатин и Гласов, похоронены на кладбище Скоморох.

Мы пришли на могилы пограничников, густо заросшие барвинкой. Среди блестящих листиков этого надгробного растения, покрывающего многие кладбища Украины, уже синели цветочки.

Ветер, сорвавшийся из-за Буга, гнал сюда, на пересохшую галицкую землю, черные тучи, набухшие дождем. Ветер шумел ветвями отцветающей сирени. Кусты ее покрывали одной тенью могилы воинов, начинавших победу и видевших уже ее буйную, неумную, твердую поступь.

...Евдокия Гласова упала на могилу мужа и, дав волю слезам, прижалась к могильной насыпи, под которой лежал он — ее Павел, храбрый и простой советский человек, проживший свою короткую жизнь честно и благородно.

Возникнет, верили мы, вслушиваясь в шум все нарастающего ветра, заглушающего рыдания Гласовой, и величавый памятник на холме, над развалинами тринадцатой заставы.

Наверное, у памятника этого ежегодно боевые, опытные командиры будут приводить к присяге молодых пограничников. Когда же у страны отпадет вовсе необходимость в их воинском труде, когда настанет то желанное время, о котором некогда рассказывала надпись на многих советских пограничных арках: «Коммунизм сметет все границы!» — то все равно, и в те завтрашние дни, отовсюду — из окрестных сел, и из-за Буга, из Польши, в народные праздники и в будни будут приходить сюда люди, приносить свежие цветы и склонять головы перед прахом героев — смелых, отважных, советских людей, отдавших свои жизни за светлое будущее освобожденного навсегда от войн и угнетения человечества!

## ПЕСНИ

### 1. ЛЕН

В чисто поле за прогон  
Мы ходили сеять лен.  
Говорили: — Будь высок.  
Будь удачен, наш ленок!

Рос да рос — и вырос он,  
Береженный, жданный лен.  
— Синеок и долгоног,  
Ты красуйся, наш ленок.

В ясный ведренный денек  
Теребили мы ленок.  
— Тяжелее кистеня  
Сноп, девчата, у меня!

Выходили мы на ток,  
Колотили мы ленок.  
Расстилали по росе  
На кошеной полосе.

После — мяли мы его,  
Измочалили всего.  
— В чистом поле был ты льном,  
Будь волнистым волокном.

Принялись его трепать,  
Гребнем начали чесать.  
— Распушись, ленок, в кудель,  
Чтоб прядильный цех гудел.



Уж мы пряли, пряли лен  
В десять тысяч веретен.  
— Был в колхозе ты ленком,  
Будь основой и утком.

Уж мы ткали, ткали лен,  
Поднимали гром и звон.  
Выговаривал челнок:  
— Выткись, выткись, наш ленок.

Мы наткали изо льна  
Километры полотна.  
— На, советская страна,  
Будь нарядами славна!

Ниткой шелковой цветной  
Мы расшили плат льняной,  
— К косам девичьим прильни,  
В поле льну они сродни.

## II. ЗА РАБОТОЙ

Ранний час овечьих снами.  
Тьма и тишина.  
Только фабрика огнями  
Вся озарена.

Ты станки свои обходишь.  
Льется ткань рекой.  
Быстро нити ты заводишь  
Ловкою рукой.

Как идет тебе цветистый  
Ситцевый платок.  
Нежно к шее льнет пушистый  
Русый завиток.

Сердце полно теплым чувством:  
— Люди тканей ждут!—  
Оттого большим искусством  
Стал твой честный труд.

Тонких тканей мастерица,  
Ты счастливей всех,  
Если труд в руках спорится,  
Множа твой успех.

Ткешь ты, ткешь самозабвенно  
Версты миткаля.  
Птицей пролетает смена,  
Пухом ткань стеля.

И бегут, струятся нитки,  
Челноки стучат:  
— Тки безустали и вытки  
Родине наряд!

---

### III. ДВА БРАТА

Два брата, два солдата  
Вернулись в отчий дом, —  
Отважные ребята  
И плотники притом.

Героем Сталинграда  
Один из братьев был,  
Другой у Ленинграда  
Врагов заклятых бил.

И брат промолвил брату:  
— Нам отдыхать нельзя.  
Ты нужен Ленинграду,  
Как Сталинграду я.

Их враг огнем калечил,  
Бомбил мосты, дворцы.  
Пойдем скорей залечим  
Их страшных ран рубцы.

И брату брат ответил:  
— В дорогу я готов.  
Стучит мне в сердце пепел  
Сожженных городов.

Я зов отчизны слышу  
В твоём призыве, брат.  
Чтоб дать бездомным крышу,  
Трудиться буду рад.

Два плотника, два брата  
Отправились в поход.  
Прощай, родная хата!  
Их новый подвиг ждёт.

У каждого котомка,  
У каждого топор.  
Родимая сторонка —  
Немеряный простор.

Родимая сторонка—  
Роса в густой траве  
Да песня жаворонка  
В небесной синеве.

## ДЕТИ

Шумят под окном ребята,  
Румяные от беготни.  
Мы тоже были когда-то  
Такими же, как они.

Мы тоже и мокли и зябли,  
Вверяя кораблик ручью,  
И так же фанерные сабли  
Стучали в потешном бою.

Из прутьев и стекол умело  
Мы строили маленький дом —  
Игру превращали в дело,  
Забаву роднили с трудом.

Зимой — коньки да салазки,  
А летом — футбол, городки,  
И просят сказки и ласки  
Милые озорники.

Кто скажет, кем будут эти  
Проказники и сорванцы?  
Сегодня они—лишь дети,  
А завтра—жизни творцы.

Когда мы уйдем на отдых,  
Они нас заменят везде—  
На шумных и людных заводах,  
На взрыхленной борозде.

Ткачи, слесаря, инженеры,  
С улыбкой вспомнят они  
Мечи и щиты из фанеры  
И детства далекие дни.

И то, что, как солнца сиянье,  
Когда-то растило их —  
Дружеское вниманье  
И теплую ласку больших.

---

## ВЕСНУШКИ

Еще зима не поддается  
Каплям и сырým ветрам,  
И белой бабочкою вьется  
Снежинка у оконных рам.

Вот запорхали хороводы  
Сереброкрылых мотыльков,  
И прячут лица пешеходы  
В нагретый мех воротников.

Вдруг встречной девочки-дурнушки  
Лицо на миг увидел я.  
Как брызги солнышка, веснушки  
Цвели на нем при свете дня.

И сразу сделалось теплее,  
И протянулся свет к весне,  
И эта девочка милее  
Красавиц показалась мне.

Н. Сусленников

## ГДЕ ТЫ, СОКОЛ?

За окном в саду вишневом  
Теплый дождь идет-звенит.  
О солдате чернобровом  
Красна девица грустит:

— Где ты, сокол мой высокий,  
Моя радость, мой покой?  
В стороне какой далекой,  
На дороженьке какой?

Ты утешь мое страданье,  
Слово-весточку подай.  
Жду я скорого свиданья —  
Приезжай в родимый край!

За окном в саду вишневом  
Дождь серебряный идет.  
О солдате чернобровом  
Красна девица поет:

— В синий вечер тебя встречу,  
К орденам твоим прижмусь,  
И навеки в этот вечер  
Я твоею назовусь.

Рубежи Отчизны милой  
Зорко наш народ хранит.  
Никакая вражья сила  
Нас вовек не разлучит.

За окном в саду вишневом  
Красна девица поет.  
С верным другом чернобровым  
Долгожданной встречи ждет.

Ясный день за лесом скрылся.  
Догорел вдали закат.  
Из похода возвратился  
Молодой герой-солдат.

Повстречались, руки жали,  
В поле шли к плечу плечо.  
Под березою шептались,  
Целовались горячо.

## **СПЕЛЫМ СОКОМ ВИШНИ НАЛИЛИСЬ..**

Спелым соком вишни налились.  
Я иду селеньем незнакомым.  
Слышу голос: «Эй, остановись!»  
Вижу—девушка стоит у дома.

Сбросил ранец. И, вздохнув легко,  
Завернул я за калитку сада.  
— Ты идешь, как видно, далеко:  
Кушай вишни — очень буду рада.

На скамейку сели у плетня.  
Говорю: «В душе покоя нету,  
Был на фронте я. А без меня  
Мое счастье затерялось где-то»...

Бойко мне ответила она:  
— Счастье можно повсеместно  
встретить.

Но запомни — наша сторона  
Самая счастливая на свете.

Славен наш ивановский народ,  
Весел он, трудолюбив и дружен.  
Я колхозный здешний садовод.  
Оставайся. Нам работник нужен.

Предо мной распахнуты пути.  
Голубой пожар над тихим садом.  
Смотрит девушка. И мне уйти  
Невозможно от такого взгляда.

## ВЫСОТА

### I

Верховье глубокой балки постепенно стало совсем узким, и теперь бойцы капитана Мезенина шли по неровному песчаному дну, невольно поталкивая друг друга. Над степью опустилась ночь, а земля, нагретая за день солнцем, все еще дышала теплом, смешанным с терпким запахом увядающей полыни. Чутко прислушиваясь к неумолчному бормотанью с каждой минутой приближающегося фронта, Егор Чудин неожиданно говорит вполголоса:

— Вот и мы дождались работы...

— Хм, — как эхо откликается Поликарп Силантьев, человек незлобивого, но задиристого характера, — тебе-то, пожалуй, и рано бы еще сюда торопиться.

— Это почему же? — без удивления спрашивает Чудин, оттягивая ремень винтовки, чтобы она не постукивала о котелок, лежащий в вещевом мешке за плечами.

— Да уж больно ты на ученьи-то был нерадив.

— А это не твое дело, какой я там был. Это тебя не касается. Не старшина ты мне, чтобы указывать.

— То есть, позволю, как это не мое дело? — начинает горячиться Силантьев. — Вот поставят нас рядом в бою, — ну, какая ты мне подмога? Скажи!.. Тебя такого-то увальня сразу на мушку возьмут. Только будет лишняя работа писарю: дескать, товарищи колхозники, ваш земляк Егор Чудин пал смертью храбрых за родину. Понимаешь? Смертью храбрых, да еще за родину, значит — за нашу советскую власть. Видишь,

Печатается в сокращенном виде

куда это все поднимается? А ты по-настоящему-то и не воевал!..

— Не пугай меня смертью, — с прежним спокойствием говорит Чудин. — Она, небось, и тебе не родная сестра, и тебя равно достать может.

— Прямо удивительно, Егор, и до чего ты беспонятный человек! Никакого воображения.. Скажем, тебя убьют и я останусь один...

— В батальоне-то? — перебил его Чудин. — Эка, ведь, хватил!

— А ты не торопись, ты слушай... Я, к примеру, останусь один. Значит, мне придется воевать, вроде как за двоих, то есть и за тебя. Вот оно дело-то в чем, Егор. Теперь смекаешь?..

— Так, Силантьев, клюй его, — сказал озорно пулеметчик Груздев, словно подбросил в огонь хворосту.

— Ничего, меня он не склюет, — упрямо возразил Чудин. — Больно зерно для него крупно.

Видимо, никак не ожидая этого от Егора, Силантьев заметно смешался и промолчал.

— Что, Силантьев наехал, — тихо засмеялся Юрий Бычков. — Здорово он стеганул тебя.

— Ну, где уж ему... — без прежней уверенности произнес Поликарп. — Послушаем, что он еще может сказать.

Но Чудин ничего больше и не собирался говорить. Все, что мог и что нужно было, — сказал. Перетирая ботинками песок, он шел и, как всегда, молчал, вглядываясь в непроницаемую темноту ночи и вновь прислушиваясь к тому, что происходило на переднем крае, куда вела его неизбежная и высокая солдатская судьба.

Комиссар батальона Веретенников, привлеченный возникшим между бойцами разговором, невольно испытал чувство радости сеятеля. От увесистых слов Чудина на него впервые пахнуло большой внутренней силой этого человека. Егор как бы повернулся до сих пор скрытой стороной, точно сам решил показать в эти минуты откровения, что он совсем не тот, за которого его принимали.

Веретенников давно и внимательно присматривался к Чудину. Несколько замкнутый, малоречивый, он заметно выделялся среди остальных бойцов. Если Поликарп Силантьев, рыжеватый фабричный челночник, тя-



готился без людей, был без них, как спичка без коробка, то Егор Чудин, казалось, не особенно нуждался в собеседнике и не торопился искать дружбы. Спросят его о чем-нибудь — ответит, не спросят — будет молчать. Он не умел или не любил рассказывать о себе, о своей семье. Трудно ли ему, весело — он постоянно одинаков.

Среднего роста, грузный, Чудин ходил неторопко, с развальцей и на учениях доставлял много хлопот командиру взвода Плохотникову. Когда все бойцы делали короткие, быстрые перебежки, Егор поднимался медленно и бежал, не останавливаясь, без надобности обгоняя других. Перед ним сейчас же возникал Плохотников. Только-что окончивший военное училище и с молодой горячностью готовый обучать каждого всему тому, что усвоил сам, он поднимался на носки сапог с повернутыми во внутрь голенищами и укоризненно спрашивал:

— Ведь, сказано же: делать короткие перебежки... Ну, а ты что?

Плохотников беззлобно покрикивал, искренно удивленный тем, как это Чудин, взрослый человек, почти вдвое старше его, не может понять того, что ему самому кажется совершенно простым. А Чудин смотрел на командира взвода с таким смущенным и простосердечным выражением на одутловатом лице, будто и в самом деле никак не мог понять, что, собственно, от него хотят.

— А я, товарищ младший лейтенант, этак скорее до немца добегу...

— Никуда ты не добежишь! — говорил строго Плохотников, одновременно светясь улыбкой, от которой теперь он уже не мог удержаться.

Чудин оглядывался на стоявших рядом бойцов и тоже улыбался, точно сказанное командиром взвода относилось не к нему, а к кому-то другому.

Во всем этом было много наивного, чего-то непонято-странного. Но вместе с тем Веретенников замечал в Чудине и нечто совсем другое. Он был по-своему рассудителен и удивительно трудолюбив. Его большие и сильные руки никогда не знали покоя. Кроме того, Егор был горазд на всякие приметы. Тут его не проведешь. Лишь два дня тому назад, когда после вы-

грузки батальон совершал марш по обожженной солнцем сталинградской степи, Веретенников остановил Чудина, который шел вдоль балки с котелком в руке.

— Ты куда? — спросил он.

— Хочу воды набрать, товарищ комиссар, уж больно печет кругом.

Веретенников недоверчиво рассмеялся: балка, где разместился на дневку батальон, была похожа на сухое корыто.

— Должна быть, — с своим обычным упрямством ответил Егор на это замечание. — Разрешите сходить...

— Иди, иди, — сказал комиссар.

Минут через тридцать Чудин вернулся с полным котелком хотя и грязноватой, но такой желанной здесь воды. Веретенников только развел руками и первый поднес котелок к спекшимся губам, наблюдая, как на него внимательно глядит Егор своими круглыми, глубоко сидящими и, как ему впервые показалось, умными глазами, в которых отражались два крошечных солнца.

Разговор же его с Силантьевым, только что услышанный Веретенниковым, неожиданно показал, что Чудин способен и на острое, меткое словцо. Он, видимо, долго бережет его при себе, словно дорогую монету, но придет время — и расплатится сполна.

Несмотря на внешнюю простоватость и многие кажущиеся странности, в душе Егора набухало то же самое золотое зерно, и оно дало теперь многообещающий росток.

«Да, Чудин совсем не тот человек, каким он казался», — уже утвердительно подумал комиссар, нагоняя капитана Мезенина, шедшего во главе батальона.

Извилистым отрогом балки бойцы вышли на совершенно открытую ровную местность, по которой проходил наш передний край, чтобы сменить уставшую и потрепанную в боях часть. Все окружающее попрежнему тонуло в густой темноте ночи. Лишь изредка ее вспарывал ослепительный свет взлетающих немецких ракет, и тогда на мгновение под ногами возникали призрачным видением голубая земля, голубые кустики, полныи и перекати-поля.

Поминутно спотыкаясь, Силантьев замечает с чувством досады, что Егор Чудин шагает рядом с ним

спокойно, твердо, будто все приминая своими тяжелыми, как утюги, ступнями.

«Ведь вот, увалень, и не оступится», — думает Поликарп, не имея уже возможности произнести это вслух, потому что до окопов остались считанные метры и где-то совсем недалеко находятся немцы. То там, то здесь слышится ядовитое урчанье их пулеметов.

Соблюдая тишину, без излишней суетолики батальон капитана Мезенина начинает занимать окопы. Егор Чудин опускается на корточки, стараясь разглядеть человека, которого он сменяет, и деловито спрашивает шопотом:

— Как тут немец, — злобствует?

Боец промолчал, торопливо собирая свои пожитки. Так же молча он протянул Чудину брезентовую сумочку, наполненную чем-то тяжелым.

— Это что? — спросил Егор.

— А ты бери скорей, бери. Может пригодятся... патроны.

Чудин взвешивает сумочку на руке, точно на безмене, и с укором говорит:

— Скупой ты, видать: мало стрелял.

— Повоюй лучше!.. — раздраженно отвечает сменяемый, уходя от окопа.

Егору вдруг показалось, что этот человек, которого он так и не смог как следует рассмотреть в темноте, что-то утаил от него, не сказал самого важного, что сейчас особенно занимало и беспокоило Егора. С несвойственной ему проворностью он догнал сменившегося бойца и настойчиво переспросил:

— Так немец-то, каков здесь? А?

— Некогда мне рассказывать... Утром сам узнаешь.

Чудин постоял, прислушиваясь к замирающему звуку котелка, к неясному далекому говору, похожему на шум пчелиного улья, затем решительно повернулся, махнув рукой в темноту, словно отсекал все то, что осталось позади, что было до этой ночи.

Подойдя к своему окопу, он опустил на бруствер, достал из кармана кисет, бумагу и стал на ощупь вертеть папиросу. Он делал все это медленно, как бы решив для себя, что теперь ему некуда торопиться, что тут начинается его новая жизнь, совсем не похожая на ту, какая была до сих пор.

Справа и слева от него приглушенно позвякивали лопатки.

— Мы не сидеть приехали. Ясно? — услышал он далекий голос командира взвода Плохотникова. — Приказано, значит — надо делать. Завтра будет поздно...

Чудин бережно положил свернутую папиросу за отворот пилотки, достал из чехла лопатку, поплевал на ладони и, несмотря на усталость, на боль в ногах, которые он натер во время марша, тоже начал углублять свой окоп. Земля была на редкость твердая, как литая. Она едва поддавалась даже под его сильными руками.

— Что, потеешь? — услышав его возню, спросил Поликарп Силантьев. — А ведь было когда научить-ся-то...

— Землю рыть я сызмальства учен. Ты сам-то лучше заройся, коль на все ловок, — ответил Чудин, старательно дробя дно окопа и выбрасывая наверх мелкое крошево.

## II

Капитан Мезенин вошел в свой блиндаж со слабым перекрытием и с плащ-палаткой вместо двери. По бокам были земляные выступы, на которых лежала необмятая, жесткая трава, прикрытая зелеными попонами. В конце узкого прохода — досчатый столик. Над ним, в маленькой печурке, аккуратно выдолбленной в стене, стояла коптилка из консервной банки. Вокруг беспокойного язычка пламени была насыпана грудка соли.

Мезенин снял пилотку, расстегнул ворот гимнастерки и, хрустя травой, опустился на постель. Его продолговатое, строгое лицо, освещенное с одной стороны, сейчас казалось еще более строгим и сосредоточенным.

— Хорош кабинет? — весело спросил ординарец Гриша, коренастый, веснучатый боец. — Только вот пуховички, извиняюсь, не особенно мягкие.

— Комиссар не приходил? — сказал Мезенин, не отвечая, и Гриша понял, что капитан чем-то слишком занят.

— Нет, комиссар не приходил.

— А ты где устроился?

— Рядом с телефонистом... Шикарную землянку облюбовал.

— Ну, ладно, иди. Через полчаса приготовишь чай. Да только покрепче... Знаешь, какой любит комиссар? Но огня, — ни боже мой!.. Не разводить.

— А как же это — без огня?

— Придумай.

— Может быть, в санчасть разрешите сходить?..

Глаза ординарца забегали, заиграли, засветились лукавством.

Капитан повернул к нему свое затененное лицо.

— Сходи, только...

Гриша не дослушал, повернулся на каблуке и нырнул за плащ-палатку.

На что надеялся Мезенин, того не случилось. Он предполагал, что после длительного и напряженного марша батальону дадут несколько дней на отдых, чтобы привести в порядок бойцов. Однако положение на фронте оказалось настолько серьезным, что приходится с хода вступать в бой. Немцы продолжают неистово рваться к Волге, стараясь овладеть Сталинградом. Чтобы сковать и отвлечь на себя силы врага, наши войска, расположенные северо-западнее города, переходили в наступление. Судя по предварительному приказанию, дивизия, в составе которой был батальон капитана Мезенина, также должна была с утра пойти в наступление.

Мезенин знал своих бойцов и верил в них, как в самого себя. Но его не могло не занимать то, что предстояло сделать завтра. Участок, отведенный батальону, очень трудный. Передний край проходит по совершенно ровной местности, лежащей перед высотой, на которой находились немцы. Эту высоту ему и предстояло брать. Он думал об этом, когда шел с бойцами до переднего края, когда давал там на месте необходимые указания командирам рот, он продолжал думать об этом и сейчас, придя в свой тесный блиндаж, вырытый в склоне неглубокой ложины. Мезенин хорошо понимал, что такое бой, особенно для тех, кто в первый раз получает крещение в этой суровой купели. И как бы ни были подготовлены люди за время учения, настоящее испытание для них начинается в огне.

Пригнувшись, в блиндаж вошел старший лейтенант Усольцев, командир противотанковой батареи, которая следовала на фронт в одном эшелоне с батальоном

Мезенина. Он был невысок, но статен, имел хорошую выправку, и потому казался выше своего роста. Из густых и черных ресниц поблескивали голубые глаза, как тонкий ледок на весенних лужицах. Вместо щегольской шинели на Усольцеве был стеганный ватник, едва достававший ему до поясницы.

— Ты что же снял новую шинель? — спросил капитан.

— Теперь не до фасона, Григорий Петрович. Да и в ногах путается. Приказал убрать... до победы.

— Это ты хитро придумал. А вот ватник все-таки выбрал коротковат. Придется оттянуть немного...

— Ничего, самая настоящая душегрейка. Будет согревать душу — и ладно, а все, что ниже — не имеет значения.

— Иногда имеет... — весело улыбнулся Мезенин, и его улыбка передалась командиру батареи. — Ну, садись, рассказывай, какие у тебя новости. Может быть, меня будешь поддерживать? — спросил Мезенин, продолжая думать о том, что предстояло сделать завтра батальону.

— Да, приказано вас поддерживать, — с важностью ответил Усольцев. — Встаю на прямую наводку.

— Значит, вместе будем фрицев бить?

— Вместе.

— Ну, что ж... Бойцы любят, когда у них за спиной стоят пушки. Только ведь ты зароешься и будешь молчать, как бы не обнаружить себя. Вы бонтесь открытого огня.

— Если танки пойдут, мы откроем себя, покажем.

— Ну, если танки... Тогда беру свои слова обратно, — опять улыбнулся Мезенин, собирая возле углов рта глубокие складки. — У тебя карта есть?

— Да... Собственно, не карта, а схема.

— Где ты ее взял?

— Сам начертил, когда вызывали в штаб дивизиона.

— Отлично. Давай-ка сверим и уточним с моими данными...

Мезенин развернул карту, командир батареи достал свою скромную схемку и, теснясь друг к другу, сели к столу. На карте и на схеме высота была обозначена несколькими смятыми кругами, как бы расходящимися

от одной точки, находящейся в середине и обозначающей выступ на высоте. Между кругами были нанесены всевозможные знаки. Это были немецкие траншеи, хода сообщения, блиндажи, пулеметные гнезда, расположенные по всей высоте. Но и Мезенин и Усольцев, глядя на эти условные знаки, видели сейчас перед собой ту действительную высоту, которая находилась перед позицией батальона и которую тот и другой наблюдали вечером во время рекогносцировки.

— На выступе, — сказал командир батареи, продолжая заглядывать в свою старательно составленную схемку, но все так же отчетливо представляя себе настоящую высоту, — находится дзот. Он же является и наблюдательным пунктом. Первая линия окопов проходит перед высотой, а по самому ее верху тянется почти сплошная траншея с ходами сообщений. В ней имеются блиндажи с амбразурами для пулеметов.

— Сколько у тебя их помечено? — спросил Мезенин, переводя свой взгляд на схемку командира батареи.

— Всего пять.

— Это точно?

Усольцев пожал плечами:

— Не знаю... Такие данные в штабе дивизиона.

— У меня их шесть. Видишь? Но и это, мне кажется, не точно. Вообще надо сказать, что мы плоховато знаем оборону немцев.

— Приблизительно, конечно, знаем, — согласился Усольцев.

Мезенин свернул карту и положил ее в планшет. Считая, что разговор их пока закончен, Усольцев встал.

— Огонь мне завтра будет очень нужен, — как бы вслух подумал капитан.

Усольцев задержался перед плащ-палаткой, хотел, кажется, что-то ответить на это, но потом низко пригнулся и молча вышел из блиндажа.

Вскоре пришел Веретенников. Мезенин заметил, что у комиссара брюки на коленях затерты землей, а сапоги рябые от пыли и высохших капель росы. Глаза его, скрытые за мягкими двойными веками, казались потемневшими от частого недосыпания. Желтоватая кожа плотно обтянула кости лица, и скулы, почти неза-

метные прежде, теперь выдавались особенно резко. И все в нем говорило о том, что комиссар устал больше, чем достаточно. Он опустился на постель, даже не взглянув на нее, и положил на стол руки. Мезенин увидел, что и ладони у него были в земле. Значит, не мало полазил комиссар по окопам.

— У Климова был? — спросил капитан, имея в виду первую роту.

— Да.

— Как там дела?

— Все в порядке... Бойцы продолжают окапываться.

— Наверное, ворчат? Дескать, говорили о наступлении, а сами почему-то приказали еще глубже зарыться.

— Нет, ничего, старательно работают.

— Это надо, — сказал Мезенин так, словно в чем-то убеждал комиссара. — Перед наступлением тоже не вредно иметь хорошие окопы.

— По-моему, даже необходимо.

— Но где же это Гриша? — вдруг вспомнил Мезенин. — Как отпустишь в санчасть, так и пропадет! Понимаешь, за Катей ухаживает. Однако не признается. Играет только глазами — и все.

— А ты за чем его туда послал?

— Да приказал чай скипятить.

— Это очень кстати, — сказал Веретенников, сдержанно зевая и откидываясь на постель.

— Товарищ капитан, — послышался голос из-за плащ-палатки, — вас к телефону вызывают.

— Кто вызывает? — спросил Мезенин, выходя из блиндажа и некоторое время ничего не различая в темноте ночи.

— Сверху.

Мезенина вызывали по какому-то срочному делу к командиру полка. Переговорив по телефону, он услышал быстро приближающиеся шаги. Это возвращался Гриша.

— Ты почему так долго? — строго спросил Мезенин.

— Раньше не мог, товарищ капитан. Дров у них нет, ничего нет, — пришлось травой кипятить. Сами знаете — степь, чего здесь найдешь?

— Ну, неси скорей, комиссар давно уже пришел.



Когда минутой позже капитан вошел в блиндаж, он увидел, что Гриша стоял с котелком в руке, от которого поднимался пахнувший дымком парок, и растерянно глядел на комиссара. Веретенников лежал на койке, закинув за голову руки, испачканные землей. Рот у него был чуть приоткрыт и губы слегка шевелились от сильного дыхания здорового человека.

— Спит, — тихо сказал ординарец, осторожно ставя на стол котелок.

— А я разве не вижу?

— Сапоги бы снять с него... — еще тише сказал Гриша, боясь поглядеть капитану в глаза.

— Не надо. Потревожишь, а он потом и не уснет. Бери автомат, сейчас пойдем в полк.

### III

Сколько времени Егор Чудин долбил лопаткой и выбрасывал кверху земляное крошево, он и сам не знал. Только когда его локти сравнялись с краями окопа, он сбросил на дно шинель и в каком-то странном изнеможении опустил на нее. Больше у него не было ни сил, ни желания продолжать работу. Пальцы онемели и не разгибались, а ладони саднило, точно от ожога. Так он лежал несколько минут, ни о чем не думая, ничего не слыша, что происходило вокруг. Он был как бы один, втиснутый в этот узкий и неудобный окоп, прикрытый продолговатым куском едва различимого неба с яркими звездами на нем.

«И у нас в эту пору такие же звезды», — безотчетно подумал Егор, и сейчас же перед его мысленным взором, наполнив сердце горячим волнением, встала родная деревня, затерявшаяся в глухих макарьевских лесах, дом с только-что подведенным фундаментом и новым прирубком, бревна которого еще не успели потемнеть от дождей и солнца. Пахнувший смолой, как диким медом, прирубок служил ему с женой спальней. Не легко теперь жене без него. Сколько в колхозе и по-дому дел, — и за всем уследи, везде поспей. В последнем письме она писала, что урожай хороший, но с уборкой будет большое затруднение, — много мужиков уехало на фронт.

«Эх, немец, проклятый всеми немец, сколько ты людей на свете потревожил, жизнь им надломил», — про-

должал думать Егор Чудин, забыв уже и усталость, и боль в затекших ногах, и жжение в ладонях.

Из окопа Силантьева доносился легкий стук лопатки. Егор поднялся, и его опажнуло стоявшей над степью прохладой. Попрежнему было загадочно тихо. Лишь изредка протрещит пулемет, нетерпеливо ахнет разорвавшаяся мина да где-то далеко заливисто проржет лошадь. Рожденное этими звуками чуткое эхо долго летит по степи и умолкает, чтобы спустя некоторое время повториться вновь.

— Поликарп, — тихо окрикнул Чудин.

— Ну, — отозвался Силантьев. — Ты что?

— А так, ничего... Слышу, стучишь ты... как дятел: тук да тук. Поди, устал?

— Да нет, знаешь ли, вроде не замечаю, — с обычной своей веселостью сказал Поликарп. — А ты, что же, совсем отделался?

— Устал, — признался Егор.

— Хм, устал, — подхватил Силантьев, будто чему-то обрадовался. — А хвалился тоже: с детства учен копать землю... Выходит, на словах только учен!

— Как это на словах?

— Да все так... Иди-ка, вот, лучше покурим.

Чудин перебирается к нему, они садятся рядом, спустив ноги в окоп. Вскоре к ним подходит пулеметчик Груздев, а потом Юрий Бычков. Несколько минут все сидят молча, сосредоточенно свертывая папиросы и обеспокоенные тем, как бы в темноте не рассыпать нечаянно табак.

— А курить-то уж по очереди придется, что ли?.. — прерывает молчание Силантьев. — Здесь открыто не покуришь, это не в тылу.

— Да, жизнь здесь удобная, нечего сказать, — согласился Груздев. — Такая удобная...

— Жизнь тут у всех одинаковая, так что жаловаться не приходится, — перебил его Бычков.

— Как это — не приходится? — сказал внезапно Груздев злым и сиплым голосом, точно его схватили за горло. — Если не жаловаться, товарищ младший сержант, этак можно и к войне привыкнуть... А там, глядишь, и немцев простить. А им ничего нельзя прощать! Они войну затеяли, не мы. Они замесили большое горе... И я должен жаловаться, чтобы не забыть,

кто в этом виноват! Вон оно, горе-то наше, полыхает, отсюда видно.

Все четверо невольно поглядели в одну сторону. Вдалеке, несколько левее высоты было видно огромное тускло-багровое зарево. Оно было как знамение беды, которая надвинулась с запада, из проклятой неметчины. То продолжал гореть Сталинград. И кто, находясь здесь в окопах, мог спокойно наблюдать эту зловещую картину? У кого не сжималось сердце от щемящей боли? Ведь это горел русский волжский город, овеянный сказаниями и славой нашего народа!

Егор Чудин, как и другие, сидящие рядом с ним товарищи, никогда не видел Сталинграда и не знал, доведется ли ему когда-нибудь побывать в нем. Но он, как и каждый из сидящих с ним, глядя на огромное зарево, всей душой разделял его страдания и беды. Он казался ему таким же близким и дорогим, как и его родная деревня, находящаяся отсюда больше чем за тысячу километров.

— А чего это нас в город не направили? — спросил Чудин. — Неужели опасались, что мы его не удержим?

— Значит, так надо, — сказал Бычков с той непререкаемой солидностью, которая свойственна молодым людям, глубоко убежденным в том, что им все хорошо известно. — Командованию видней, куда нас поставить. Оно все учитывает.

— Ты же слышал, что давеча рассказывал комиссар, — заговорил Поликарп, обращаясь к Чудину. — Мы держим здесь немца за одну руку. Понимаешь? Отпусти его здесь — и он сразу навалится на город. А что будет, если немцы возьмут Сталинград? Они тогда бросятся на Москву. Они попробовали в прошлом году взять ее в лоб, да рога поломали себе. Так они теперь в обход пошли. А мы и тут их побьем: тпру, сволочи, далеко полезли! Да по зубам этим фрицам, по зубам... чтоб неповадно было соваться в другой раз. Сейчас они набрали силенок по всей там Европе и доскакали до Волги. Надеялись и до Урала доползти. Они самомнительные, эти немцы. Да только широко размахнулись... Русский народ такой: он не любит, чтоб им распоряжался кто-то чужой. Он привык сам себе хозяином быть.

— А им что?.. — вставил Чудин. — Отростили длинные руки, а жрать-то, видать, нечего, — вот и шарят, и шарят по чужим землям. Отрубить им руки — умнее будут!

— И отрубим, — продолжал с увлечением Силантьев. — Мы своего никому не отдадим, Егор. Мы своей жизни кровью, терпением добились. Дорого она обошлась нам. И вдруг отдать каким-то немцам? Да как это можно?... Нас тогда проклянут наши же дети. Скажут: жили, строили — и не могли отстоять! Что же это вы, такие-сякие? Не-ет, Егор, мы с тобой жадные, то что наше — не отдадим. А немцы, дураки набитые, не понимают этого, полезли. Замахнулись, а не подумали, на когомахнулись. Если помочь кому по доброй воле, — это — пожалуйста, от всей души. Но если кто захочет силой действовать, на испуг взять нас, — извини-подвинься, тут мы оттяпаем руки, а заодно и голову. Мы же очень гордые!.. Мы же не умеем, как некоторые прочие, шею гнуть. Ну-ка вспомните, когда мы гнулись? Нельзя вспомнить... В цепях были в старые времена, и голодные были, но на коленях ни перед кем не стояли. В этом мы неповинны. И никогда не будем стоять! А немцы, и кто там еще с ними, — никак не поймут этого. Вот и надо как следует их проучить, чтобы знали и умнее были. Величать себя великой расой немудреное дело, на это и петух способен. А ты примером это докажи, чтобы не ты сам, а другие сказали, что ты хорош. Вот как по-нашему надо поступать.

— Убедил, — сказал Груздев с оттенком мягкой иронии. — Если бы комиссар услышал, он бы тебя обязательно назначил политруком роты. Произнести такую речь... Нет, это здорово, Поликарп, ей богу, здорово! Быть тебе политруком.

— А что же: назначат — не откажусь, не беспокойся, — ответил Силантьев из окопа, куда он спустился докурить папиросу, предложенную ему Бычковым.

— А хорошо бы теперь, ребята, в бане попариться, — произнес мечтательно Чудин.

— Да, это было бы куда славно, — живо откликнулся Поликарп, высываясь из окопа. — Две недели уже не мылись... А я любил, грешник, побаловаться

горячей водой. У нас при фабрике была отличная баня, с ваннами. Ляжешь, бывало, в ванну...

— Идите-ка вы к чортовой матери с этими разговорами! От них уже спина зачесалась... — раздраженно сказал Груздев и, поднявшись, пошел к себе.

— Не выдержал, — смеется Чудин.

— Порох, а не человек, — сказал Силантьев. — То, вроде, ничего, а то — не подступись, слова не скажи: сразу и шерсть кверху, губы синеют от крика. И ядовит больно... Луком что ли кормили его с детства?

— Немцам от него лихо достанется, — опять с уверенной солидностью заметил Бычков, тоже поднимаясь и уходя к себе. — Они поплачут от этого лука. Он им покажет себя.

Завернувшись в шинель, Егор Чудин опять лежал в своем окопе, испытывая счастливое и радостное чувство, что вот и здесь, на фронте, он не одинок, что его окружают все те же близкие люди, которые не оставят тебя в трудную минуту, с которыми и смерть будет не так страшна.

А Юрий Бычков, облокотясь на край окопа, наблюдал в это время, как на участке соседнего батальона, видимо, чем-то напуганные, немцы стали одну за другой пускать осветительные ракеты. Это напомнило ему прошлогоднюю июньскую ночь, когда они, выпускники второго курса энергетического института, собрались в городском парке. Тогда беспрерывно играла музыка. На круглой, огороженной перилами площадке танцевали юноши и девушки. Над их головами шурша пролетали разноцветные полоски серпантина. Они обвивали шеи, плечи. В аллеях парка с треском взлетали ракеты и осыпались книзу быстро меркнущими звездами. Кругом было шумно и весело. Когда на время замолкли уставшие музыканты, Юрий вместе с однокурсницей Ниной сбежал по ступенькам танцевальной площадки в сад, стараясь найти более уединенное и все же столь шумное место, как там, где они были. Остановившись, они увидели, что опять не одни, и, не сговариваясь, держась за руки, побежали дальше. В самом углу парка было тихо. Под лампочкой с металлическим абажуром лежал ярко освещенный круг. Юрий

Нина вступили в этот круг и попятнулись, — слишком

ослепительным показался им в эту минуту свет. И как бы сами удивленные такой неожиданностью, они поглядели друг другу в глаза и увидели там все то, что не могли сказать словами. Юрий обнял девушку за плечи, она не отстранилась — и он поцеловал ее коротким, стыдливым поцелуем. На другой день они узнали о начавшейся войне, а через два месяца Нина провожала его в армию...

#### IV

Капитан Мезенин не сразу нашел блиндаж начальника штаба полка. И если бы не связист Иголкин, который узнал его по голосу, он долго бы еще ходил по балке с крутыми, почти отвесными скатами и бесконечными отрожками, поросшими кустарником. Несмотря на то, что он приходил сюда днем, сейчас, в темноте ночи, все же трудно было представить, где он именно был. Все сливалось, и ничего нельзя было различить.

Он открыл досчатую, плотно сколоченную дверь, откинул плащ-палатку, которая словно штора прикрывала изнутри дверь, и остановился на пороге: нестерпимо яркий свет ударил ему в глаза. Довольно просторный блиндаж был освещен автомобильной фарой без стекла, подвешенной так, что свет падал на большой стол и прямо на дверь. Но не только это заставило Мезенина остановиться на пороге. Он был смущен тем, что все командиры батальонов были уже в сборе и, судя по устремленным на него взглядам присутствующих, его давно ждали. Мезенин не принадлежал к числу людей неаккуратных, поэтому испытанное им чувство неловкости было тем более глубоким и неприятным для него самого.

— Входи смелей, входи, — сказал подполковник.

Маленький, с острым лицом и гладко зачесанными назад волосами, он стоял в расстегнутой шинели, опершись полусогнутыми пальцами о край стола и выставив в стороны локти. Перед ним была раскрытая карта, вся испещренная цветными карандашами. На ней лежал картуз с брошенными на него лайковыми перчатками, сохранявшими форму рук подполковника.

Мезенин доложил о своем приходе и, получив разрешение, сел около двери, несколько потеснив других.

— Ты, брат, что-то заставляешь себя ждать... — сказал капитан Хорьков, начальник штаба полка, нарочито громко и с тем фамильярным высокомерием, которые усваивают себе недалекие люди только потому, что считают себя выше других по положению и знают, что им не посмеют возразить.

Мезенин укоризненно поглядел в его лицо с белыми пятнами на лбу и подбородке. И эти пятна, и выпуклые холодные глаза, и тонкие губы, и слишком высовывающийся кверху целлулоидный воротничок, — все это показалось ему сейчас особенно вызывающим и совершенно неприятным.

«Хоть и начальник штаба, а все-таки глуп», — первый раз и неожиданно для самого себя так резко и определенно подумал о нем Мезенин.

Подполковник вынул карманные часы в почерневшей стальной оправе.

— Сколько, капитан Мезенин, на ваших времени?

Мезенин встал и, быстро взглянув на руку, ответил.

— У вас отличные часы. Садитесь, пожалуйста.

Хорьков недовольно крикнул, опустил глаза. А командир третьего батальона Шишков, сидевший напротив Мезенина и обменявшись с ним взглядом, торжествующе улыбнулся.

Дело, по которому командир полка срочно вызвал своих подчиненных в такое позднее время, состояло в том, что был получен дополнительный приказ. В нем указывалось, что наступление дивизии начнется не в десять часов, как намечалось раньше, а в восемь часов, и что для обеспечения наступления придавались дополнительные артиллерийские средства.

Подполковник не любил устанавливать над своими подчиненными мелкой опеки, лишать их самостоятельности при выполнении поставленной перед ними задачи. Он высоко ценил смелых, инициативных командиров. Не старался, как говорят, залезать в их душу. По этому поводу он однажды сказал: «Душа каждого командира — это его успех в том деле, которое ему поручено. Во-время исправить замеченную ошибку — необходимо, но дергать командира по каждому поводу — значит, сковать его волю и энергию в достижении победы».

Так поступил командир полка и сейчас. Он зачитал дополнительный приказ, пояснил его, насколько это было необходимо, уточнил готовность батальонов к наступлению, спросил, кто и в чем нуждается, чтобы можно было принять меры еще до утра. Сдвинув в сторону картуз и щелкая карандашом по карте, он сказал, обращаясь к Мезенину.

— У вас наиболее трудный участок. Высота является опорным пунктом обороны немцев. Ее нелегко будет брать. Но я верю, что свою задачу вы выполните. Вы должны ее выполнить! — подполковник помолчал, словно что-то обдумывая. — У вас есть вопросы ко мне?

— Нет, товарищ подполковник.

— Значит, все ясно?

— Пока ясно.

— Пока?... — сказал подполковник таким тоном, словно спрашивал самого себя. — Ну, да, конечно, — добавил он неопределенно.

Не желая больше задерживать командиров, подполковник разрешил расходиться.

— Сил у нас, товарищи, достаточно, чтобы отбросить отсюда немцев и оказать помощь защитникам Сталинграда, — сказал он, когда все уже поднялись и в блиндаже стало тесно, видимо, сам считая свои слова не официальными, а скорее напутственными. — Только больше настойчивости, уменья. Ведь это же событие, товарищи, — наступаем! Великое это дело — наступление!

Мезенин, стоявший около двери, вышел из блиндажа первым. За ним вышел, споткнувшись о земляной порог, старший лейтенант Шишков, всегда и всюду шумный, несколько неловкий, но в общем славный воюка и человек. Он схватил Мезенина за руку и дернул ее книзу. Это означало, что он хотел сказать ему что-то особенно интересное. Но в это время к ним подошел начальник штаба.

— Если ты завтра не возьмешь высоту, — сказал он Мезенину своим высоким, без интонаций голосом, так что нельзя было разобрать — говорит ли он шутя или серьезно, — тогда ее возьмет Шишков. Он из-под носа у тебя ее вырвет. Правильно, Шишков?

— Пожалуйста, если вы прикажете, я могу ему уступить, — с плохо скрываемой иронией ответил Ме-



зенин и тоже дернул старшего лейтенанта за руку, давая понять ему, что он говорит это не для него, а для начальника штаба.

— А где же твой престиж, капитан Мезенин, где же твоя честь? — продолжал Хорьков. — Ты должен всеми фибрами дорожить своей честью и доверием командования!

— Товарищ капитан, — начал было начальник едва сдерживая себя и чувствуя, как горячая кровь бросилась ему в лицо и прилила к горлу, — своей честью я свято дорожу. Я знаю свой долг перед Родиной и перед народом, который воспитал меня. Поэтому я и не могу подменять эти высокие понятия мелким тщеславием. А вы, извините, толкаете меня именно на этот путь...

— Товарищ капитан, — начал было начальник штаба, пародируя Мезенина, но его позвали к подполковнику и он не успел договорить того, что хотел.

— Пойдем, — сказал весело Шишков. — Начальство, как известно, ругать не положено, а Хорькова послать к чорту можно... один раз. Больше не надо, с него хватит. Пойдем!

Они прошли несколько десятков шагов и остановились.

— Впрочем, я задержусь тут, — вспомнил старший лейтенант. — Я должен еще забежать в строевую часть. Так до свиданья, желаю тебе всяческого успеха!

Он дернул опять Мезенина за руку и побежал, невидимый в темноте, но ясно определимый по тем звукам, которые он производил каблуками своих огромных сапог.

Мезенин окрикнул ординарца, и когда Гриша словно из-под земли, появился возле него, торопливо направился в батальон.

Фантастична и обманчива сталинградская степь во тьме. В ней легче заблудиться, нежели в лесу. Нет никаких примет: ни дерева, ни дома, ни телеграфного столба. А дорог накатано так много, что им невозможно доверять. Балки же похожи одна на другую. Они тянутся и вдоль, и поперек, со множеством самых прихотливых ответвлений.

В лицо дул слабый ветерок, предвещающий скорое наступление рассвета. Под ногами шумно шуршала ра-

стущая отдельными кустиками трава, жесткая, как проволока. Где-то несмело прокричал перепел: спать пора, спать пора...

— Птица — и та о сне беспокоится, а нам нельзя, — сказал Мезенин ординарцу, который шел, положив руки на автомат. — Нельзя нам, Гриша, спать, некогда.

Они спустились, наконец, в неглубокую балочку и пошли по ней несколько медленнее, уверенные в том, что теперь они скоро будут дома, — война не отучает людей фронта попрежнему называть домом свой блиндаж, землянку и даже наскоро вырытую щель.

Впереди послышались голоса, донеслось легкое позвякивание котелков.

— В первую роту завтрак привезли, — сказал Гриша.

«Старшина что-то поторопился, — подумал Мезенин. — Бойцы могли бы еще отдохнуть...»

Капитан откинул плащ-палатку и увидел в блиндаже сидящую на краешке постели Катю Захарову. Она быстро встала, засунула под ремень пальцы обеих рук и расправила на себе гимнастерку, выставив острую девичью грудь, казавшуюся высокой от набитых чем-то карманов. Приложив затем руку к пилотке, из-под которой спускались пышные, видимо, только что вымытые волосы, Катя подчеркнуто строго доложила о том, что по приказанию военфельдшера она принесла для комиссара порошки. С прибавлением всех необходимых по форме слов фраза у ней получилась настолько длинной, что она едва сумела ее договорить.

Мезенин улыбнулся, стараясь хоть этим заставить санинструктора держать себя проще. Он знал строптивый характер этой маленькой девушки с курносым, некрасивым лицом и удивительно выразительными темными глазами, которые были даны ей природой как бы в награду и в которых было заключено все то привлекательное, что отсутствовало у нее на лице. Катя Захарова, подобно многим девушкам, добровольно ушедшим на фронт в годину суровых испытаний для родины, старалась казаться более сильной, выносливой и более строгой, нежели она была на самом деле. Она совершенно не терпела какого бы ни было снисхождения к себе и принимала это, как обиду, почти как оскорбление. Катя старалась быть такой же, как все, переносить и испытывать то же самое, что переносили

и испытывали другие. Мезенин знал, сколько раз во время марша ей предлагали, даже приказывали сесть на санитарную повозку. Но так и не удалось заставить ее. Она сажала на подводу бойцов с потертыми ногами, а сама шла рядом. Даже не захотела снять с себя туго набитую сумку с красным крестом. Одного только не знал капитан, что Катя пишет домой такие детски-наивные письма, в которых рассказывает своей матери о войне так, словно это совсем уже не такое страшное дело, как будто бы мать не понимает всего этого. Она не хотела, чтобы мать догадывалась, как тяжело ее дочери.

Мезенин крикнул телефониста.

— Комиссар давно ушел?

— А вот только перед вами, товарищ капитан. Сказал, что скоро вернется.

— Разрешите подождать его? — сказала Катя.

— Зачем? — удивился Мезенин. — Оставь порошки, а сама иди отдыхать.

— Я должна рассказать, как их надо принимать.

— Комиссар знает... А ты иди отдохни и приготовься.

— А мне чего готовиться, товарищ капитан? Сумку через плечо, двести метров на запад, — и все, и готова. Вы сами-то, вот, не отдыхаете.

— Старшим не указывают, — опять улыбнулся капитан, чтобы Катя поняла, что он сказал это в шутку.

Захарова положила на стол три порошка, сказала, как их надо принимать, и вышла из блиндажа. Но еще не успела плащ-палатка расправиться под своею тяжестью, как вновь поднялась, и показалось лицо Кати с прелестными сияющими глазами:

— А вы, оказывается, совсем даже и не сердитый. Вот что!..

Плащ-палатка задернулась, и за ней послышался тихий, проникновенный смех. Мезенин вышел из блиндажа, но смех уже растаял.

— Вызови командиров рот, — сказал он телефонисту.

Вошедший за ним в блиндаж Гриша спросил, не принести ли завтрак.

— После, когда придет комиссар.

— А вы же и вечером ничего не ели, товарищ капитан. Когда же после?..

Мезенин взял со стола порошки и отдал ординарцу.  
— Это тебе Катя Захарова принесла.  
Глаза Гриши забежали, заиграли от удовольствия.

## V

После завтрака Силантьев скатал шинель, убрал котелок в вещевой мешок, рассовал по карманам полученный запас винтовочных патронов, гранаты, — словом, сделал все, что необходимо солдату, который, готовясь к атаке, не знает, где ему придется находиться через несколько часов, а может быть, даже и минут, и теперь, стоя в окопе, с любопытством наблюдал, как, причудливо изменяя краски, быстро разгорался восток. Вначале над стелющейся дымкой горизонта показалась розовая полоса. Охватывая все больший край неба, она становилась ярко красной с золотистой окаемкой внизу. Потом, как языки взметнувшегося пламени, кверху побежали веером лучи и вслед за ними показался край немного сплюснутого, переливающегося и еще неяркого солнца. Небо было совсем уже светлым, а степь по-прежнему казалась однообразной и скучной. Но вот лучи солнца упали на нее и побежали от холма к холму. Сероватая дымка испарений моментально растаяла, тени сбежали в балки, заблестели капли росы — и степь, минуту назад казавшаяся однообразной и скучной, вдруг ожила, преобразилась в своей непривычной для Силантьева красоте.

— Видать, жаркий будет денек! — крикнул ему Чудин, высовывая из окопа свое помятое лицо.

— Да, сегодня день будет очень жаркий, — согласился Поликарп, придавая, однако, совершенно другой смысл этим словам.

Сквозь конусную выемку в бруствере, присыпанном ветками полыни, Егор Чудин увидел впереди высоту, которая по своим очертаниям была похожа на щуку с приподнятым спинным плавником. Освещенная солнцем, она казалась совсем близкой. Но сколько ни всматривался Чудин, он ничего не мог различить на ней, кроме чуть наметанной стежки, извилисто спускающейся книзу от плавника.

«Где же это они?» — подумал Чудин о немцах.

Взглянув себе под ноги, он увидел брезентовую сумочку, вспомнил бойца, которого сменил ночью, его

многозначительно произнесенные слова «утром сам узнаешь» — и внутренне улыбнулся с чувством какого-то превосходства.

«Испугался.. А чего — сам не знает. Где они, немцы-то?».

И Егор опять посмотрел в сторону высоты, и опять ничего не увидел.

Однако не прошло и пяти минут, как немцы напомнили о себе. В прозрачном и еще свежем воздухе наступившего утра послышался ровный, все нарастающий звук. Первым его услышал Яков Груздев. Он сдвинул на лоб каску и смотрел из-под обреза козырька, но солнце слепило ему глаза и мешало увидеть приближающиеся самолеты.

— Слышишь, летят! — сказал он Поликарпу.

Силантьев прислушался:

— Верно, что-то гудит.

— «Юнкеры»... Будь уверен.

— Откуда тебе известно?

— Эта музыка мне знакома. Под Москвой слышался в прошлом году. У них моторы с одышкой работают... Слушай! Да вон и зенитки наши начали стрелять.

Прикрыв ладонью глаза, Силантьев увидел, как вокруг солнца появились клубки полупрозрачного, легкого дыма. И среди них заметил самолеты, которые, приближаясь, увеличивались с каждой минутой. Точно предупреждая о налете «юнкеров», над линией окопов прошли два немецких истребителя, оставляя за собой тонкий, долго не смолкающий свист. Сделав разворот, они круто взмыли вверх и растаяли в голубом безоблачном небе. Силантьев проводил их взглядом, а когда вновь посмотрел на приближающихся бомбардировщиков, они были совсем уже близко. Они летели на небольшой сравнительно высоте. Над степью плыло теперь сильное монотонное гуденье, поглощая все остальные звуки.

— Налетели... — сказал Чудин одними губами.

Кажется, только сейчас он понял все значение того, что должно было произойти.

— Ты, смотри, не вздумай выскочить из окопа, — крикнул Силантьев, заметив его смятенное состояние. — От самолетов никуда не убежишь.

— А как спустят на нас бомбу?

— Спустят!.. — всердцах произнес Поликарп. — Ты специально заказал, что ли?

— На что на мне сдалась? Ей и чорт, поди, не рад.

— Ну, тогда сиди и не высовывайся!

Силантьев говорил так, словно был спокоен в эту минуту, словно сам не испытывал того смятенного состояния, которое он заметил у Чудина. Это состояние знакомо каждому, кто впервые переносит бомбежку. Когда сидишь в окопе, а над твоей головой томительно медленно, как сытые, но злобные хищные птицы, развертываются самолеты, невольно чувствуешь себя каким-то беспомощным и потому несколько растерянным.

Относительно спокойнее других казался Яков Груздев. Невысокого роста, с широкими сильными плечами; он стоял в своем окопе и, неотрывно следя за немецкими бомбардировщиками, что-то прилаживал, примеривал, выставляя кверху свой пулемет, как винтовку. Каска у него была сдвинута на затылок, и гладкий высокий лоб отсвечивал на солнце. Все время наблюдавший за ним Поликарп, сказал:

— Может, ты убрал бы свой пулемет. Его, чай, хорошо видно с самолета.

— Так что?.. Пусть видят. Я прятаться не буду. Они меня не запугают, Поликарп! А ты что — осечку дал?!

— Силантьев осечку не даст... Трудно, конечно, без привычки, но он тоже человек с характером, — сказал Поликарп, словно о ком-то другом.

Поблескивая на солнце краями крыльев, немецкие самолеты сделали еще один круг — и вдруг один за другим пошли вниз, в пике. Сквозь неистовое стенание моторов послышался пронзительный визг и вслед за ним раздался такой силы взрыв, что земля как бы приподнялась и опустилась. Егор Чудин не успел еще о чем-либо подумать, как неведомая сила навалилась на него и прижала ко дну окопа. Затаив дыхание, он прильнул плотно к земле, чувствуя, как при каждом взрыве бомб она судорожно вздрагивала, точно живое существо. Егор напрягал все усилия, чтобы овладеть собой.

Пять минут ревели, визжали и рвалось вдоль линии наших окопов, пять минут сотрясалась, как в ознобе, земля, и за это короткое время Чудин пережил и перечувствовал, может быть, больше, чем за всю свою

жизнь. Перед окопами поднялась густая, клубящаяся пыль, заслонившая собой и высоту, и степь, и даже солнце, на которое сейчас можно было глядеть, не прищуривая глаз.

Где-то совсем рядом с оглушающей силой разорвалась бомба. В окоп Егора посыпались комья сухой земли. У него перехватило дыхание, точно он захлебнулся воздухом, и зазвенело в ушах. Чудин скорее почувствовал, нежели понял, что произошло что-то серьезное, а может быть, и непоправимое. Отряхнув с себя землю, он громко крикнул:

— Поликарп!

Тот не ответил:

— Поликарп! — крикнул он во второй раз, и опять не отозвался Силантьев. Егор только расслышал стрельбу пулемета.

Ощущение чего-то тревожного усилилось, и тогда Чудин, несмотря на все еще продолжающуюся бомбежку, приподнялся и увидел справа большую воронку и полуобвалившийся окоп Силантьева. Только теперь Егор понял все. Предчувствие его не обмануло. Он выбрался из своего окопа и пополз к засыпанному Силантьеву. Заметив торчащий верх зеленой каски, Чудин почти в испуге, сдирая с пальцев ногти, стал разгребать землю, стараясь прежде всего выпростать лицо Поликарпа.

Сначала показался ремешок каски, сине-багровое ухо, рыжеватый небритый подбородок. Когда, наконец, освободил все лицо, Егор приподнял Силантьеву одно веко, другое. Глаза были какие-то незрячие, словно чужие, и он не понял: жив Поликарп или нет. Тогда он пополз к себе в окоп за лопаткой, а когда вернулся — около Силантьева уже стоял на коленях Груздев и отбрасывал землю лопаткой.

— Ты осторожнее, помельче захватывай, — посоветовал Чудин, помогая ему.

— Громче кричи, плохо слышу, — сказал Груздев, хотя немецкие бомбардировщики отвалили и вокруг опять установилась тишина.

Вскоре явилась Катя Захарова и с ней санитар, пожилой боец с длинными усами. Чудин и Груздев перенесли Поликарпа в воронку и положили на разостланную плащ-палатку. Ловко действуя своими пухленькими

ручками, девушка стала протирать марлей, смоченной водой, лицо Силантьеву. Потом она взяла его левую руку, пощупала пульс, и на ее лице, вначале застывшем и строгом, появилась улыбка.

— Он жив! — почти с детской радостью закричала она.

И словно в подтверждение этого, Силантьев медленно открыл глаза. Егор наклонился над ним.

— Вот оно как бывает на войне-то, — изменившимся голосом сказал Поликарп.

— Да, знать, сильно хряснуло тебя. Вон она, какая упала дура!

— Если бы не ты, Егор, распрощался бы я с жизнью...

Чудин хотел напомнить Поликарпу о том разговоре, который произошел между ними вчера вечером в балке, но сдержался, решил, что этого не следует делать сейчас.

— Тут всяко может случиться, — ответил он неопределенно.

— Не мешайте нам, товарищ боец! — сказала повелительно Катя. — Понесли, Прохорыч...

— Видел? — обратился Чудин к пулеметчику, когда унесли Силантьева. — Девчонка, а тоже командует! И зачем их допускают сюда? У нас одна такая-то апро-батором в колхозе работает. Ну, там она на своем месте. А тут зачем, на войне-то? Тут мужика-то корчит, как бересту на огне!

Груздев помотал головой и пополз в свой окоп, и Егор не разобрал: то ли тот не расслышал его, то ли несогласен с ним.

Санчасть, куда доставили Силантьева, находилась в той же самой ложине, где и командный пункт батальона, только несколько ниже, и состояла из большого блиндажа, разделенного простынями на две комнаты. Маленькие застекленные окна были устроены под самым потолком и, хотя солнце падало почти отвесно на пол, в комнатах было достаточно светло. Военфельдшер, в еще неизмятом белом халате и круглых очках без оправы, встретил Силантьева ласковым восклицанием:

— Нас куда ранили?

— Его землей засыпало, — ответил санитар с длинными усами.



— Рано засыпать нас землей, мы еще повоюем, — весело говорил военфельдшер, растягивая слова, и в то же время внимательно осматривая Силантьева. — Как у нас голова себя чувствует?

— Немного кружится, — ответил Силантьев.

— Это пройдет, — совсем уже певуче сказал военфельдшер, словно обращался с ребенком.

Вдруг стекла в оконцах санчасти дрогнули, зазвенели, им отозвались стоявшие на столике пузырьки и стаканчики. Поликарп, казавшийся до сих пор покорным, схватил свою винтовку и побежал к выходу.

— Ты куда? — спросил военфельдшер без прежней певучести в голосе.

— К себе, — оглянулся Силантьев. — Слышите? Началось. Наша артиллерия бьет.

— Пусть бьет, а я тебя не отпущу. Не имею права... Я приказываю...

— А я оставаться не могу, товарищ доктор. Понимаете? Когда ранят, сам приду, а сейчас я здоров. Уж извиняйте, товарищ доктор...

Когда Силантьев прибежал в свой полусасыпанный окоп, Чудин даже не поверил своим глазам.

— Это ты, Поликарп?

— Я.

— отошел, значит?

— А что мне сделается? — с непостижимой веселостью ответил Силантьев.

И Егор в первый раз почувствовал в себе особенную близость к этому рыжеватому, неукротимому человеку, которому так же было не сладко после того, что произошло, но который еще находит в себе силы казаться все тем же никогда неунывающим челночником.

## VI

Наша артиллерия открыла огонь ровно в восемь часов утра. Юрий Бычков, воодушевленный и взволнованный, стоял в окопе и нетерпеливо, как и все бойцы, ждал той решающей минуты, когда, наконец, начнется атака. Это ожидание имело для него особенно большое значение. Еще находясь в тылу, занимаясь боевой подготовкой на живописных берегах Оки, Юрий Бычков каждый вечер, после отбоя, лежал вместе с другими бойцами в пахнущем хвоею шалаше и мечтал о том,

как он будет вести себя в бою. Не видя пока войны и не испытав всего того, что связано с ней, он представлял ее отвлеченно, поэтому каждый бой, который он живо рисовал в своем воображении, всегда складывался так, как он этого хотел. Подобно всякому юноше, страстно желающему отдать всего себя честному служению родине, Бычков не мог не представлять себя героем, совершающим необыкновенные подвиги. И хотя все, что он представлял себе, было довольно расплывчато и туманно, это, собственно, не особенно занимало и беспокоило его. В каждом воображаемом случае Юрия больше всего интересовало, как он отнесется к тому, что случится в бою. Он пробовал себя, как пробует кузнец раскаленный кусок металла, опуская его в воду, чтобы убедиться, насколько будет твердой сталь. И сейчас, готовясь к атаке, он с волнением думал о том, что вот теперь-то будет то самое, чего он давно и нетерпеливо ждал.

Еще не смолкла окончательно наша артиллерия и на высоте и по сторонам от нее еще не рассеялась густая завеса пыли и дыма, когда в воздух взвилась красная ракета и послышался голос командира взвода Плохотникова: «Вперед!» Собственно, Бычков не столько услышал этот голос младшего лейтенанта, сколько почувствовал его всем своим существом, подобно тому, как человек чувствует действие электрического тока. Легким, рассчитанным движением он первым выскочил из своего окопа и побежал вперед.

Придерживая одной рукой автомат, Юрий бежал большими, спорыми шагами. Несколько впереди и чуть сбоку от него бежал Плохотников, размахивая пистолетом. Низенького роста, чем-то похожий на кубарик, он быстро перебирал своими короткими ногами в сапогах с подвернутыми во внутрь голенищами. Не оглядываясь по сторонам на бегущих неровной цепью бойцов, Юрий Бычков почему-то старался не терять из виду энергично работающих ног младшего лейтенанта. На тактических занятиях он всегда обгонял командира взвода, но сейчас образовавшееся между ними расстояние никак не сокращалось. И забыв на мгновение обо всем, что происходило вокруг, Бычков неожиданно для самого себя подумал:

«Неужели я не догоню его?»

И он побежал еще быстрее, все так же ничего не замечая, кроме мелькавших перед его глазами сапог. Вдруг одна нога Плохотникова на какую-то долю секунды повисла в воздухе, затем медленно опустилась, ступня странно вывернулась, точно встретила препятствие, и младший лейтенант повалился на землю. Побуждаемый чувством азарта, Бычков обогнал его. Но когда оглянулся, увидел, что командир взвода продолжал лежать вниз лицом без движения. Только пальцы правой руки, откинутой вперед, судорожно подергивались, будто стараясь нащупать выпавший пистолет. Юрий подбежал к младшему лейтенанту, перевернул его вверх лицом и только теперь понял все, не успев даже ужаснуться тому, что произошло. Плохотников был мертв.

Немецкая пуля прошла у него между бровей, оставив после себя маленькое отверстие, из которого сочилась кровь.

— Ложитесь, товарищ младший сержант!.. — услышал Бычков голос Поликарпа Силантьева. — Смотрите, что делается! Тут голову нельзя поднять, а вы открыто бегаετε...

Юрий отполз несколько вперед, чтобы не лежать рядом с убитым командиром взвода, огляделся и увидел, что бойцы роты залегли, беспорядочно рассыпавшись и плотно прижавшись к земле. Одна за другой над головами веером проносились очереди немецких пулеметов. И Бычков почувствовал, что он растерялся. Он не знал, на что решиться. Когда он бежал, ничего не замечая, кроме сапог Плохотникова, ни о чем не думая, кроме того, обгонит он младшего лейтенанта или нет, ему было легко и, казалось, ничто не могло остановить его. А теперь, когда он лежал и видел, что творится вокруг, увидел неподвижно лежащего командира взвода — и устыдился своего поступка. Поднявшееся солнце жгло сквозь гимнастерку спину, плечи. Вдоль позвоночника, как по желобку, от шеи стекал пот, и намокшая около ремня гимнастерка прилипла к телу. В висках стучало, точно по ним с раздражающей настойчивостью били молоточками.

Взглянув на лежавшего недалеко от него Поликарпа Силантьева, на других бойцов, он с отчаянностью спросил себя:

— Ну, а что же дальше? Неужели так оставаться здесь и лежать?

И Бычков с обостренной отчетливостью вспомнил все свои размышления в шалаше, — вспомнил — и еще раз устыдился самого себя. Как было в мыслях все хорошо, он выходил из любого положения, созданного его собственным воображением. А вот сейчас в бою, когда все идет не так, как хотелось бы, когда возникла первая трудность и неожиданность, — он уже не знает, что делать, на что решиться. Хотя именно это и является для него настоящим, а не воображаемым испытанием. Может быть, другого испытания для него и не будет. Когда закаливают сталь, раскаленный кусок металла сразу опускают в воду.

«Да, надо сразу», — подумал решительно Бычков, чувствуя себя обязанным сделать то, что не успел сделать командир взвода.

— А ну, за мной, по-пластунски! — крикнул он Силантьеву. — Передай команду другим!..

Отталкиваясь одновременно руками и ногами, скользя всем телом по земле, Бычков пополз вперед. Силантьев и еще несколько бойцов последовали его примеру, но чем плотнее прижимались люди к земле, тем ниже стелились над ними пулеметные очереди и тем чаще повторялись они. Теперь пули уже не жужжали, не свистели, а издавали такой звук, словно кто-то невидимый рассекал над ухом тонкой хворостинкой воздух.

«Хотя бы кочки были... или кустики... Ничего нет», — думал Бычков, продолжая ползти.

Сталинградская степь была немилостива к своим защитникам. Она была совершенно открытая и местами ровная, как пол. Даже трава росла редкая, сухая, сквозь которую виднелось все, что находилось на поверхности земли. Трудно, невероятно трудно было ползти по ней, но бойцы, увлеченные примером Быčkova, все же ползли. Некоторые из них, вскрикнув в последнюю минуту покидающей их жизни, смолкали, другие отставали и, не будучи в силах сдержать мучительную боль, взывали о помощи, а те, кого еще щадили пули, продолжали ползти. Но их становилось все меньше и меньше.

С пулеметными очередями теперь смешался огонь немецких минометов. С противным воем мины падали

как бы из самого необъятно-голубого, застывшего в своей красоте неба и рвались с нетерпеливым и злым гаканьем. Они падали так часто, что усеивали собой все лежащее перед высотой пространство. Теперь уже совсем нельзя было передвигаться.

Атака не удалась, и вскоре последовало приказание отойти обратно в укрытие.

Когда Юрий Бычков вернулся в свой окоп, он показался самому себе таким гадким, таким ничтожным, что не находил даже слов для выражения своего состояния. Кажется, ничего более тяжелого он еще не испытывал. Он видел по лицам бойцов, что они довольны тем, что их миновала страшная опасность, что они остались живы и могут вновь перекинуться друг с другом словами, могут закурить, словно они уже успели забыть, что было минуту назад.

Это выражение удовлетворенности было и на лице Силантьева и Чудина, и даже пулеметчика Груздева. И только он, Юрий Бычков, не был и не мог быть спокойным.

«Ну, почему они все спокойны? — думал Бычков с горечью в сердце. — Ведь мы же не выполнили приказ, не взяли высоту... Разве можно быть спокойным?»

Впереди окопов, где он только-что находился сам, лежало несколько убитых бойцов и командир взвода Плохотников. Они уже не вернуться. Они будут лежать там до сумерек, пока не придут санитары или из похоронной команды. Юрию показалось, что во всем виноват он один.

«Что из того, что я остался жив? — продолжал он думать с беспощадной суровостью по отношению к самому себе. — Что из того, что?..» — настойчиво спрашивал он себя и не находил успокаивающего ответа.

А между тем Силантьев не был уж так доволен и спокоен, как думал об этом Бычков. Он испытывал очень сложное чувство, в котором было трудно сразу разобраться. Поликарп сидел в окопе, машинально стирал ладонью с винтовки пыль и твердил одно и то же:

— Срамно... Ах, как срамно!

Он пытался понять то, что произошло, и не мог.

— Как же это мы... а? Неужели немцы так неподатливы, что их нельзя сдвинуть с места? Да этого быть не может!

Он поднялся и встретился глазами с Яковом Груздевым. Лицо у пулеметчика было бледное и на нижних челюстях вздрагивали мышцы. Он долго, не моргая, смотрел на Силантьева, потом сказал сходящим до шопота голосом:

— Не удалась атака, Поликарп..

— Ну и что ж, что не удалась? — почти закричал Силантьев. — А ты что хочешь этим сказать?

— А вот то самое, что и сказал.

— Твои намеки ни к чему... Ты яснее говори!

— Чего ты кричишь? На кого?.. — говорил Груздев, едва владея собой.

— Не задавай мне вопросов... Понял? С такими вопросами я могу послать тебя...

— Не стучи, Поликарп, о камень — огонь высечешь. А я сам боюсь его. Мне дышать невозможно, а ты еще...

— А мне можно? Я присягу давал... А как я теперь отвечу партии, что я скажу? Мне теперь срамно поглядеть ей в глаза!

— Ты больно много берешь на себя. Не ты один член партии... Мы все в ответе перед ней. А с немцами у меня особый счет... Твоя где семья-то?

— Зачем тебе? — примирительно спросил Силантьев.

— Нет, ты скажи, где? Дома? А моя?.. Где моя семья?! Нет ее, Поликарп! Немцы убили в Калуге. Какое мне это? Могут они со мной рассчитаться? Разве я могу им это простить? Да мне дети потом покою не дадут. Я их сейчас и то каждую ночь во сне вижу. Закрою глаза, а они — вот они, передо мною стоят, все кровью облитые.

Груздев помолчал, стараясь успокоиться, посмотрел в сторону высоты и тихо сказал:

— А ведь почти совсем рядом она...

Силантьеву показалось, что у пулеметчика на глазах блеснули слезы.

## VII

Когда по его сигналу был поднят в атаку батальон, Мезенина охватило то знакомое состояние возбужденности, которое неизбежно появляется у каждого командира в первые минуты наступления. Несмотря

на всю кажущуюся ясность положения, оно всегда таит в себе много неожиданного, чего нельзя предвидеть заранее и что не зависит от воли и желания одного человека. Первой такой неожиданностью было то обстоятельство, что артиллерия не уничтожила даже некоторые основные огневые точки противника. И как только наши бойцы поднялись из окопов, немецкие пулеметы открыли такой плотный огонь, что сразу же стало понятно, что его трудно будет преодолеть. Он приказал командирам рот выдвинуть вперед пулеметы, вести огонь из противотанковых ружей по немецким пулеметным точкам. Огонь с обеих сторон достиг наивысшего напряжения. Но бойцы все же лежали, не имея возможности подняться. Темп наступления был потерян. А ко всему этому немцы открыли убийственный минометный огонь. Он доделывал то, что не могли сделать их пулеметы. Создалось критическое положение. В эту минуту позвонил начальник штаба полка. Он спрашивал, насколько продвинулись бойцы. Мезенин ответил:

— Метров на сто...

— Почему мало?

— Очень сильный огонь противника.

— Это не объяснение.

— Я не объясняю, я докладываю то, что есть...

— Меня это не интересует, — повизгивал в телефонной трубке голос Хорькова. — Требую продвигаться вперед.

— Будем продвигаться.

— Надо больше решительности, товарищ капитан! Понимаете? Больше решительности, смелости! Этого требует приказ... А вы, кажется...

Мезенин положил трубку. Все эти слова сейчас не имели значения.

Неудавшуюся атаку за высоту капитан Мезенин переживал как большое личное горе. Правда, он не испытывал отчаяния, он умел и в эту минуту сохранять способность трезво оценивать положение. Он знал, что, как и в каждом деле, на войне возникают свои неожиданности. Поэтому, несмотря на временную неудачу, его уверенность не была поколеблена. Он верил, что в след за неудачей придет желаемый успех.

И все же разговор с начальником штаба вызвал у него некоторое раздражение. Выходило, что он недоста-

точно решителен и смел. Это был явно несправедливый и незаслуженный упрек. У Мезенина было достаточно и желания, и воли, и чувства долга.

Однако самое неприятное состояние в том, что начальник штаба оказывался в чем-то прав. Его неумная шутка, сказанная им ночью на совещании у командира полка, вдруг приобретала какой-то смысл, по крайней мере — видимость смысла. А его возражение Хорькову могло теперь показаться самоуверенностью.

— Я знаю свой долг, дорожу своей честью... Только слова, а на деле ничего нет! — зло и несправедливо упрекал самого себя Мезенин, невольно поддавшись раздражению.

Он еще и еще раз выяснял положение, говорил с командирами рот, — и все сводилось к тому же, что его люди, как и он сам, были готовы на все, что в его батальоне не было тех причин, которые бы мешали выполнению задания. Сложность была в другом — надо было устранить те причины, которые не зависели от него. Это сделать казалось гораздо труднее. Но сломить препятствие, которое кажется непреодолимым, добиться своего, — это было в натуре Мезенина.

Во вторую атаку он повел батальон сам. Но и вторая атака окончилась так же безуспешно. Опять пришлось откатиться назад. И вот Мезенин сидит в своем блиндаже грязный, оглушенный и злой, — злой на самого себя. Над виском немецкая пуля сорвала кожу, и кровь размазалась по лицу вместе с потом.

Прибравший военфельдшер попытался обмыть ему лицо и перевязать рану, но капитан молчаливо отстранил его рукой.

— Одну минуточку, товарищ капитан... — твердил неотступно военфельдшер.

— Оставь меня, оставь... Иди занимайся с бойцами.

— Я одну минуточку.

— Ну, ладно, обматывай, — сдался, наконец, Мезенин.

Дождавшись, когда военфельдшер закончил свое дело, зашедший Усольцев сочувственно сказал:

— Тут, Григорий Петрович, сердцем ничего не возьмешь. Позиции у них...

— Что позиции?

— А вот зарылись они — и ни черта не возьмешь!



— Ты утешать, что ли, хочешь меня? — сердито спросил Мезенин и откинул к стене голову, обмотанную бинтом, из-под которого торчали кверху волосы. — На войне человека не жалеют, а помогают ему. А ты плохо меня поддерживаешь. Наобещал много... А где твой огонь? Где твоя точность?

Усольцев стоял и глядел на капитана, видимо, не зная, что больше сказать.

— Садись, чего стоишь? — проговорил Мезенин и, наваливаясь грудью на стол и глядя на командира батареи вопросительным взглядом, спросил:

— Как ты думаешь, здорово побили меня?

Усольцев, несколько смущенный прямо направленным на него, почти физически ощутимым взглядом капитана, нерешительно сказал:

— Если высоту не взяли...

— Я не люблю эти «если», — перебил его Мезенин.

— Ты говори со мной прямо.

Видя некоторое замешательство командира батареи, он сказал:

— Нет, Усольцев, не побили. По лбу, — улыбнувшись, капитан показал на свою забинтованную голову, — нам, верно, немного стукнули. Но без этого на войне не бывает. Но мы еще не так набьем морду этим немцам. Ох, и набьем... Обязательно набьем!

Теперь Усольцев видел, что перед ним сидит все тот же Мезенин, упорный, никогда не теряющий присутствия духа и готовый пойти на все ради успеха дела. Эту перемену в настроении капитана заметил и ординарец, часто заглядывавший в блиндаж.

— А что, товарищ капитан, может выпьете? За победу, а? Казенную норму.. Ей богу, хорошо выпить. Прикажете?

— А чего тебе приказывать? Ты уже давно ее принес. Ну, давай сюда.

— И как это вы все увидите? — говорил довольный Гриша, ставя на стол две жестяных кружки.

Мезенин взял кружку, поглядел в нее, словно хотел удостовериться, есть ли в ней водка, и, не торопясь выпить, сказал Усольцеву, который тоже держал кружку, готовый чокнуться с капитаном:

— Плохо еще мы научились взаимодействию. Отстреляются артиллеристы и считают, что все сделали. Бой-

цы поднимаются в атаку, а пушки молчат. А как раз в это время-то они и нужны. Особенно нужны!

Мезенин подставил свою кружку, Усольцев чокнулся, и они выпили. Капитан достал из банки кусок консервированного мяса, покрытого желтоватым застывшим салом, и, лениво пережевывая, сказал:

— Человек ты смелый, Усольцев, я вижу. Ты мог бы отличиться... Серьезно. По-настоящему проявить себя. Заработал немецкий пулемет, бойцы залегли, а ты тут как тут со своими пушками: бей, цель видна. Уничтожил пулемет — бойцы опять вперед. Вот и успех будет, и помощь твою бойцы почувствуют.

— Надо поговорить с командиром дивизиона, — заметил Усольцев.

— Ну, что ж — поговори. И я с ним поговорю. Только это нужно делать сейчас же. Я надеюсь, что мы скоро вновь пойдем в атаку.

Усольцев ушел, и Мезенин остался один. И только теперь он понял, что это было то самое лекарство, в котором он нуждался. Но вошедший телефонист сообщил, что его вызывает командир полка.

«Теперь все шишки повалятся на мою голову, — подумал капитан, выходя к телефону. — Только бы не отвели во второй эшелон!..»

— Мне передали, что ты ранен? — спросил подполковник.

— Ерунда, товарищ подполковник. Так, небольшая царапина.

— А как самочувствие?

— Паршивое, товарищ подполковник.

— Ничего, успокойся.

— Когда выполню задачу, тогда успокоюсь, а сейчас не обещаю.

— Через десять минут начинаем работу, — сказал командир полка. — Для тебя вызвали девушку с хорошим голосом. Надеюсь, тебе с ней веселей будет. Приготовься к встрече.

Мезенин понял, что это за «девушка с хорошим голосом». Но больше гвардейских минометов его обрадовало то, что на него надеются и ему верят несмотря на все неудачи. Значит, напрасны были все его сомнения. О разговоре с подполковником он сейчас же передал командиру рот.

Все как бы начиналось сначала. Опять открыла огонь наша артиллерия. Ей сейчас же ответила немецкая. Завязалась упорная артиллерийская дуэль. Свои и чужие снаряды с шелестом разрезали воздух. В это время показались наши штурмовики. И как только они миновали передний край и над высотой за клубился дым от взрыва бомб, батальон был поднят в атаку.

После того душевного состояния, которое испытал Бычков в первую неудавшуюся атаку, сейчас он с радостью думал о том, что остался жив. Теперь бы он не мог вместе со всеми вновь бежать к высоте, не мог бы сделать того, что он сделает на этот раз. Он не знал, что именно, но ему казалось, что он сделает что-то очень важное и большое. Он достиг уже того места, где упал за смерть младший лейтенант Плохотников. Командир взвода лежал все так же вверх лицом с полуоткрытыми глазами.

«Вот отсюда мы начали отходить назад», — мелькнула мысль у Бычкова, продолжающего бежать вперед, пользуясь временным замешательством немцев после налета штурмовиков.

Но вскоре открыли огонь пулеметы противника. Им ответили наши минометчики. Теперь бойцы передвигались короткими перебежками. С каждой минутой они приближались и приближались к высоте. Оча была как сильно действующий магнит: чем больше сокращалось расстояние, тем возрастало у бойцов нетерпение скорее добраться до нее. И Юрию Бычкову уже начинало казаться, что теперь ничто не может их удержать. Он уже хорошо видел перед собой извилистую траншею, неглубокие хода сообщения, по которым сновали, пригнувшись, немцы, видимо, готовясь к контратаке. Из амбразуры дзота, устроенного в выступе, бил крупнокалиберный пулемет. Но его очереди проходили значительно правее, там, где с группой бойцов продвигался ползком командир роты Климов. И у Бычкова вдруг мелькнула смелая мысль: подобраться к этому дзоту и забросать его гранатами. И он пополз уже в его сторону, усиленно работая локтями и коленями. Но неожиданно замолчал станковый пулемет, который находился позади него и прикрывал продвижение наших бойцов.

Этим немедленно воспользовались немцы и открыли сильный автоматный огонь. Бычков плотно прижался к земле и тоже пустил в ход свой автомат. Но продвигаться он уже не мог. И он подумал, что вот если он будет так лежать, то опять будет потеряно время, и неизвестно, чем тогда закончится так хорошо и успешно начатое дело. Хотя немцы теперь и не были в состоянии открыть минометный огонь, поскольку наши бойцы находились уже в непосредственной близости от высоты, но автоматный огонь не даст возможности приподняться для последнего и решающего броска.

Эти его размышления прервала пулеметная очередь, прошедшая над головой в сторону высоты.

«Ага, заработал!» — почти закричал Юрий, испытывая ощущение радости и возбуждения.

Находившийся в цепи бойцов комиссар Веретенников заметил, что передвигаемый станковый пулемет замолчал. Замолчал в такую критическую и решающую минуту, когда надо было вести удесятеренный огонь. Еще один-два броска — и наши бойцы будут у подножья высоты, начнется гранатный бой и затем рукопашная схватка в траншее. А тут немцам уже не выдержать. Они не устоят против упорства и мужества наших людей.

Комиссар видел, как, несмотря ни на что, Бычков успешно продвигался вперед, постепенно уклоняясь вправо, в сторону выступа. Он как бы даже почуял его намерения. И теперь, подбежав к пулемету, он старался скорее выяснить, почему он замолчал. Боец лежал, держась за ручки пулемета и уронив голову на замок. Рядом лежал другой боец и корчился в смертельных муках. Очевидно, он был ранен в живот. Подносчик патронов находился несколько позади и, держа перед собой две коробки с патронами, не знал, что делать.

Веретенников с трудом оторвал руки пулеметчика, оттащил еще неуспешное отвердеть его тело, нажал на теплую гашетку, но пулемет молчал. Только теперь догадался, что лента вся кончилась. Пулеметчик, умирая, стрелял до последнего патрона.

— Давай ленты! — крикнул он бойцу, толкая вперед пулемет.

Когда была вставлена лента, комиссар развернул пулемет и дал длинную очередь вдоль немецкой тран-

шей. Эту-то очередь и услышал с радостным возбуждением Юрий Бычков.

— Вперед-од!.. — не переставая стрелять, крикнул комиссар.

Бычков услышал голос комиссара и, поняв, что он относится прежде всего к нему, пополз дальше, снимая с пояса гранату.

Капитан Мезенин, наблюдая за ходом боя, видел, что левый фланг, на котором находился комиссар, значительно выдвинулся вперед. Вот-вот там начнется уже гранатный бой. Но правый фланг значительно отставал, и это беспокоило его. Климов что-то задерживался. Но выяснить причину, чтобы принять необходимые меры, было нельзя. Связь не работала. Он послал связного, но тот не вернулся или был убит, или тяжело ранен. Тогда он приказал дежурившему телефонисту Иголкину во что бы то ни стало восстановить связь. Длинный, сухощавый, словно проявленный на десяти ветрах, Иголкин посмотрел на капитана, как бы говоря: «Значит, моя очередь?» — и, перегнувшись вдвое, смешно выкидывая коленки, побежал под пулями, как под сильным крупным дождем.

Вскоре Климов отозвался.

— Как продвигаешься? — спросил нетерпеливо Мезенин.

— Левый фланг достиг высоты. Там товарищ два (то есть комиссар).

— Это я знаю. Почему задерживается правый фланг?

— Дьявольский огонь. Сосед отстает и нам мешают немецкие автоматчики.

— Сейчас помогу...

Он вызвал к телефону командира третьей роты Ухова и приказал прикрыть фланг Климова.

— Только действуйте быстро и решительно! — предупредил капитан.

Мезенин позвонил опять Климову, но вместо него послышался чей-то другой голос. Не подумав о том, что с командиром роты что-то могло случиться в ту самую минуту, пока он говорил с Уховым, он сказал:

— Сейчас ваш фланг прикроет «сестра». Передайте это немедленно старшему лейтенанту. И двигайтесь, двигайтесь вперед.

— Ясно, товарищ один.

— Кто это говорит? — спросил капитан.

— Лейтенант Яблоков.

Это был командир второго взвода роты Климова. Мезенин хорошо знал этого уже немолодого командира, очень рассудительного, но излишне медлительного и мало самостоятельного человека. Поэтому Мезенин повторил:

— Вы меня поняли?

— Понял, товарищ один.

— Передайте это немедленно старшему лейтенанту. Немедленно!

Яблоков помолчал.

— Вы меня слышите? — почти закричал капитан.

— Слышу, товарищ один, — с какой-то нерешительностью отозвался командир взвода.

— Так какого же чорта медлите?

— Товарищ один, я не могу передать ваше приказание старшему лейтенанту.

Мезенин почувствовал, что у него внутри что-то дрогнуло.

— Что-нибудь случилось?..

— Старший лейтенант ранен.

— Тяжело?

— Да. Из крупнокалиберного.

Это была неожиданная и тяжелая для Мезенина весть. Он давно и хорошо был знаком с Климовым. Еще в прошлом году под Москвой они воевали вместе. Мезенин тогда командовал ротой, а Климов взводом. После госпиталя они почти одновременно приехали во вновь формируемую дивизию уже с повышенными званиями и должностями. Мезенин любил Климова как человека и высоко ценил его как опытного и бесстрашного командира.

В это время прибежал Иголкин с прострелянной в двух местах пилоткой и разодранным по шву рукавом гимнастерки.

— Ваше приказание выполнено, товарищ капитан, — доложил он.

Мезенин отвернулся, чтобы телефонист не заметил его глаз.

Запоздала. на какую-то, может быть, минуту «сестра справа». Не успела рота Ухова подоспеть во-время, по-

мешал сильный огонь. И вышло все не так, как могло бы быть. Задержался взвод лейтенанта Яблокова, а с ним и некоторые бойцы из соседнего взвода. И в тот самый момент, как комиссар Веретенников уже прорвался с бойцами убитого командира взвода Плехотникова к траншее немцев, одновременно с обеих сторон высоты показались вражеские танки. Солнце освещало их сбоку и рядом с ними ползли черные уродливые тени, и танки казались более огромными и страшными. Они открыли огонь и, описывая полукруг, стали сходиться.

Мезенин понял, что немецкие танки хотели отрезать выдвинувшуюся вперед роту Климова и уничтожить ее, пользуясь тем, что наша артиллерия не откроет огня ввиду непосредственной близости своих бойцов. Капитан приказал по телефону Яблокову и Ухову отсекать автоматчиков, подпускать танки и рвать их гранатами.

— Чтобы никакой паники! — кричал он по телефону. — Не танки страшны, а паника. Смелее действуйте. Я сейчас буду сам.

Капитан Мезенин заткнул за пояс гранаты и, сопровождаемый Гришей, побежал в пекло боя.

## IX

В продолжение всей атаки Егор Чудин старался находиться поблизости от Силантьева. Он делал то же самое, что и Поликарп. Если тот перебегал, петляя как заяц, перебегал и он. Когда тот полз, останавливаясь, чтобы выстрелить, Егор так же полз и одновременно с ним стрелял. В этом соседстве он как бы находил для себя какую-то опору и уверенность, что с ним ничего не случится. Тем более, что вслед за ними передвигался Яков Груздев, чей пулемет не замолкал ни на минуту. И это тоже придавало Чудину больше решимости в той сумасшедшей трескотне, которая сейчас происходила вокруг.

Но как-то получилось так, что Егор вскоре потерял из виду и Силантьева и Груздева. Перед ним оказался незнакомый боец, почти с красным от загара и напряжения лицом. Он дышал тяжело, как загнанная лошадь. Иногда он останавливался, приподнимал высоко голову и жадно хватал воздух широко раскрытым ртом. На

земле, где проползал боец, оставались следы крови. Заметив это, Чудин понял теперь, почему так тяжело дышит боец, почему он так жадно хватается воздух.

Поравнявшись с ним, Егор спросил:

— Куда, земляк, ранен?

Боец ответил не сразу. Он сначала поглядел на Чудина, словно решал, заслуживает ли он того, чтобы ему рассказывать, потом сказал:

— В грудь, мерзавцы, попали...

— А куда же ты ползешь? Ты поворачивай в санчасть.

— Туда нет пока дороги. У нас одна дорога — на высоту. А там или смерть, или в санбат.

Он глотнул воздух и пополз вперед.

«Да, вот это мужик!» — с восхищенным удивлением подумал Чудин.

Он проводил его долгим взглядом и сам заторопился, понимая, что путь у всех, действительно, один — на высоту.

Однако же, когда показались немецкие танки и он увидел, как им навстречу бросился командир роты Климов, громко крикнув «За родину, за Сталина!», как он упал, а затем приподнялся, опираясь на руки, взмахнул гранатой и нерасчетливо бросил ее, видимо, обессилевший от полученной раны, и как немецкий танк прямо проехал по нему, не успевшему отползти в сторону, — Егор Чудин почувствовал, что его оставило всякое самообладание. Его охватил безотчетный страх, который он был не в силах преодолеть. И сам не сознавая, что он делает, потрясенный только что увиденной картиной смерти командира роты, он повернул обратно, стараясь найти для себя хотя какое-нибудь укрытие.

В этом состоянии его и застал появившийся капитан Мезенин.

— Ты куда? — закричал капитан.

Не поднимая головы, Чудин бросил на Мезенина блуждающий взгляд и застыл от неожиданности. Ему показалось невероятным, что в такую минуту перед ним может появиться командир батальона.

— Испугался? — с озлобленным выражением на лице спросил Мезенин.

— Немного струсил, товарищ комбат, — сказал Чудин, произнеся последнее слово не «комбат», а «ком-



мат», и внутренно радуясь тому, что признался капитану в своем поступке.

— У тебя гранаты есть?

— Есть.

— А чего же ты испугался? Разве немецкий танк может устоять против человека? Против тебя ничто не может устоять!

Несмотря на исключительность и всю тяжесть создавшегося положения, Мезенин старался казаться спокойным, сдерживая себя напряжением всех душевных сил. Как руку или ногу во время ранения перетягивают натуго жгутом, чтобы приостановить кровотечение, так и Мезенин сейчас как бы стянул в узел все свои чувства, которые хоть в малейшей степени могли бы поколебать его самообладание.

— За мной, вперед! — крикнул капитан, прислушиваясь к противному звуку гусениц.

— Там командира роты придавило, — сказал Чудин или для того, чтобы сообщить об этом капитану, или для того, чтобы объяснить ему причину своего страха.

— За мной! — повторил Мезенин, словно не расслышал того, что сказал ему боец.

Как бы желая искупить свою вину, Чудин с необычайным ожесточением и упорством пополз дальше, намеренно обгоняя командира батальона. Ему хотелось даже крикнуть капитану, чтобы тот отстал, что они управятся одни. Кризис уже миновал, и Егор вновь обрел в себе чувство уверенности.

Крайний танк шел прямо на Чудина, стреляя из пулемета. Егор приготовил гранату и, перехватив дыхание, ждал страшной развязки. Но в последний момент танк несколько отвернул в сторону и его только оглушило ревом мотора, звуком трущегося металла и обдало гарью. И тогда Чудин поднялся и швырнул под удаляющийся танк гранату. Танк дернулся, точно охнул от взрыва гранаты, и развернулся к нему лобовой частью, как смертельно раненое, но еще опасное чудовище. Егор торопливо бросил вторую гранату. Она ударилась о башню, отскочила и разорвалась на земле. Но этого Чудин уже не видел. Его подхватило горячим воздухом взрыва, и он полетел в какую-то темную вязкую пропасть.

Катя Захарова, находившаяся в небольшой воронке, видела, как Чудин подбил немецкий танк, как он бросил вторую гранату и в ту же секунду, пораженный ее осколками, упал навзничь, точно подрубленное дерево. Несмотря на огонь, который продолжался вокруг, Катя откинула на спину туго набитую санитарную сумку и быстро поползла к Чудину. До него было метров семьдесят, не больше. Но как нелегко проползти это расстояние, если над твоей головой роятся тысячи пуль, и каждая из них может оказаться достаточной для того, чтобы оборвать твою молодую жизнь, у которой все еще впереди, когда закончена только средняя школа да краткосрочные медицинские курсы, когда губы оставались еще нецелованными и руки не обнимали шею любимого человека, когда в воспоминаниях одни лишь мечты.

Но девушка ползла. Она думала не о смерти. Она думала только о помощи раненому бойцу, в которой тот сейчас нуждался. А это было для нее превыше всего. Чудин лежал на спине, раскинув ноги. Голова была повернута в сторону, словно Егор к чему-то прислушивался, приложив ухо к земле. Ремешок на подбородке лопнул и каска отделилась от головы, как треснувшая скорлупа от зерна ореха. Сквозь гимнастерку около правой подмышки проступило красное пятно. Такие же пятна были на левом плече и на сгибе локтя. Из-под обшлага рукава стекала кровь и скапливалась, как в блюде, в широкой ладони со сведенными пальцами.

Когда Захарова стала делать перевязку, Егор застонал и открыл глаза. Он внимательно посмотрел в лицо девушки, и между его плотно сжатых губ легла чуть заметная улыбка. Чудин узнал Катю.

— Ты откуда тут взялась? — едва справляясь со словами, спросил Егор.

— Да вот уж взялась... — неопределенно ответила она.

— Удивительно... В таком-то огне...

— Сильно побит? — спросила Катя.

— Должно быть, сильно. Весь организм страдает.

— Потерпи немного, потерпи... — говорила Катя тоном взрослой, довольная тем, что боец не кричит в голос, как другие, а только кряхтит да что-то перетирает зубами.

— Сестрица.

— Что тебе?

— Подними мне голову.

Катя подумала, что он умирает.

— Лежи, сейчас закончу перевязывать и доставлю тебя в санчасть. Ты будешь жить, не беспокойся.

— Ну, подними... — опять попросил Чудин.

Захарова приподняла ему голову, Егор скосил, насколько мог, глаза и увидел недалеко стоящий танк.

— Мой?

— Твой, твой, молодец.

— Эх, какую махину подрубил...

Закончив перевязку, Катя достала стеклянную фляжку с водой и поднесла ее к потрескавшимся губам Чудина. Егор потянулся было к ней, но фляжка лопнула, пробитая пулей, и вода пролилась на грудь гимнастерки. Девушка вздрогнула и торопливо спросила:

— Можешь ползти?

— Могу... ну, а как же... если надо.

Чудин сделал движение и вынужден был стиснуть зубы, чтобы не закричать.

— Не годишься ты... Слаб. Ложись ко мне на спину...

— Что-о? — не сразу понял Егор.

— Ложись ко мне на спину: я понесу тебя.

— Куда тебе? Я — тяжелый. Нешто не видишь, какой я? А ты — маленькая... Я лучше сам... — упрямо сказал Чудин и, сделав невероятное усилие, пополз, опять кряхтя и что-то перетирая крепкими зубами.

Когда они проползли уже значительное расстояние, Катя, догадываясь о состоянии Чудина, заботливо сказала:

— Товарищ боец, а ты остановись, передохни немного.

— Не могу я остановиться, девушка, нельзя мне останавливаться, — сквозь стиснутые зубы произнес Чудин. — Мне уж лучше ползти до места. Только прошу тебя — отстань малость. Я ругаться сейчас буду... всякими словами. Терпенья у меня больше нет!

— Если будет легче, ругайся, — великодушно разрешила Захарова, думая о том, сумеет ли он доползти до окопа санитаров.

Но вот Егор не вытерпел, дико взревел, сделал еще несколько судорожных движений и обмяк, потеряв соз-

нение. А когда пришел в себя, он увидел над собой неоступно склонявшееся лицо девушки.

— Больше не могу... Нет никаких во мне сил.

— А все уже, товарищ боец. Теперь мы на месте.

— Неужели ты донесла? — изумился Егор.

— Конечно, кто же?..

— Ах, — героиня... Выходит, я зря тебя поругал тогда.

— Когда это? — машинально спросила Катя, вытирая пилоткой со лба пот и поправляя растрепавшиеся волосы, покрытые пылью.

— Сегодня утром, когда Силантьева засыпало в окопе. Я тогда сказал про тебя...

Но Кате не удалось услышать, что сказал о ней утром Чудин. Санитары положили его на носилки и понесли трусцой к ложине, где находилась санчасть батальона.

— Тише вы, непутевые, — закричал Егор, перекосив губы. — Что вы так трясете? Девушка одна несла и то спокойнее. А вы... Полегше!.. Как в могилу волокут, окаянные!

«Здоров дядька», — со счастливой улыбкой на лице подумала Катя, направляясь обратно туда, где по-прежнему кипел бой.

## Х

Когда из-за высоты показались немецкие танки и как стальными клещами стали охватывать наших бойцов, комиссар Веретенников со взводом убитого Плехотникова и несколькими бойцами из соседнего взвода уже приблизился к траншее противника. Немцы, осмелевшие при появлении своих танков, уверенные в том, что наши бойцы растеряются и побегут, выскочили из траншеи и, наполняя воздух истошными криками, словно камни, начали скатываться вниз. Но именно этим и воспользовался Веретенников. Он приказал открыть по немцам огонь, а затем поднял бойцов и повел их в рукопашную схватку. Немцы, как он и предполагал, не выдержали этого смелого броска, повернули обратно. Однако уже было поздно. Буквально на их плечах наши бойцы ворвались в траншею. В первые секунды трудно было понять, что происходит. Трещали

автоматы, рвались гранаты, слышались глухие удары, крики «ура» и вопли на чужом языке. Все это смешалось и носилось в воздухе над небольшим клочком земли.

Юрий Бычков все время бежал впереди комиссара, подхватывая и передавая другим бойцам его приказания и готовый в любую минуту прикрыть его своим телом. Как он добежал до немецкой траншеи и прыгнул в нее, как он стрелял из автомата и бросал гранаты, — Юрий не успевал следить, — настолько быстро все это происходило. В памяти остались только алюминиевая пряжка ремня со свастикой и упавшие на нее ладони после его выстрела, ярко блеснувшие стекла очков, чей-то широко раскрытый кричащий рот. Была ли в этом крике ярость взбесившегося немца, мечтавшего покорить весь мир, или мольба о помиловании, — Бычкову некогда было думать об этом. Он ударил в этот кричащий рот прикладом автомата и побежал вдоль траншеи, направляясь к выступу, где находился дзот.

А Силантьев, уставший и потный, с громко бьющимся сердцем, неожиданно споткнулся перед самой траншеей. Эта неловкость и спасла его. Над самой головой прошла автоматная очередь стоявшего почти перед ним немца, молодого парня с рыжими, словно подпаленными волосами. Поликарп вскинул винтовку, чтобы выстрелить, и вдруг почувствовал, что пальцы ослабли: дуло немецкого автомата глядело прямо ему в лицо. На какое-то мгновение Силантьев застыл, ожидая второй очереди. Но она не последовала. У рыжего немца кончились патроны. Тогда Силантьев прыгнул в траншею и, вместо того, чтобы выстрелить, с большой силой ударил стволем винтовкой в грудь рыжего немца.

Пока Силантьев управлялся с этим немцем, пока Бычков пробирался вместе с комиссаром к дзоту, а другие бойцы кололи штыками и уничтожали гранатами сопротивляющихся немцев в ходах сообщений, Яков Груздев, припав к своему пулемету, расстреливал подбегавших к траншее немецких солдат. Он был гневен и страшен в эти минуты. Все то, что он носил в себе, сейчас разрядилось. Это было похоже на огромную

тучу, которая медленно плыла от самого горизонта. Теперь она, охватив полнеба, вдруг разразилась страшной грозой.

Эту же грозу нес в себе и каждый боец, с таким мучительным трудом добравшись сюда на высоту.

Перед самым выступом, где находился дзот, проходил ход сообщения, такой же глубокий, как сама траншея. Заметив его, комиссар крикнул бегущему впереди Бычкову:

— Ложись!

Остановленный его голосом, Юрий присел. Веретенников бросил в ход сообщения гранату.

Во-время остановил комиссар Бычкова. За поворотом сидел немец и ждал, вскинув автомат. Не добежал бы Юрий до дзота, остановила бы его навсегда смертельная очередь этого притаившегося немца, если бы не граната, ловко брошенная комиссаром.

— Теперь вперед, — крикнул Веретенников.

Подбежав к дзоту, Бычков увидел, что дверь на длинных железных петлях плотно захлопнута. Открыть ее было невозможно, ломать нельзя. Тогда он выполз наверх, добрался до амбразуры и бросил в нее гранату. Силой взрыва сорвало с петель дверь. Прошла томительная минута. В дзоте было тихо. Бычков готовился для верности бросить вторую гранату. Но в это время из дыма и пыли, как привидение из ада, показался немец с поднятыми кровоточащими руками. Юрий оттолкнул его ногой и дал короткую очередь из автомата в дзот, а потом уже вбежал туда. На лавке в углу сидел второй немец с открытыми глазами, обращенными к амбразуре, сквозь которую было видно, как горели три немецких танка. Бычков размахнулся автоматом, намереваясь ударить вражеского пулеметчика прикладом. Но тот даже не сморгнул глазами, не сделал ни одного движения. Юрий толкнул его прикладом в плечо, и немец упал к его ногам.

Очевидно, заранее считая наших бойцов, находившихся на высоте, обреченными, немцы все свое внимание сосредоточили на том, чтобы отбросить батальон, не дать ему соединиться с группой Веретенникова. Поэтому на короткое время на высоте установилась сравнительная тишина. Но комиссар понимал, что дол-

го это затишье продлиться не может, что они являются слишком болезненной занозой, чтобы немцы не постарались ее вытащить. И он принял все необходимые меры для защиты. Превратив дзот в своеобразный командный пункт, он расставил имеющиеся пулеметы, бойцов, выяснил, какими каждым располагает запасами патронов и гранат, приказал наскоро открыть стрелковые ячейки, обращенные в тыл немцам, перекопать хода сообщения, по которым немецкие автоматчики могли бы просочиться к ним в траншею.

— Это затишье обманчивое, — говорил Веретенников, обходя бойцов. — Немцы нас в покое не оставят. Драться придется насмерть, пока не придет помощь. Нас не бросят. Но когда придет помощь, я не знаю. Может быть, нам придется долго держаться одним, надеясь только на свои силы и на свое упорство. А продержаться мы обязаны во что бы то ни стало. Мы первыми ворвались на высоту, первыми освободили этот клочок родной земли. Какое это счастье и какая гордость, товарищи! И разве мы можем отдать врагу отвоеванную землю? Но если придется умирать, умрем вместе, но честно и с доблестью. Пусть никто не скажет, что мы посрамили свое воинское звание и нарушили присягу Родине. Останется хотя бы один человек, — пусть он дерется с проклятым врагом за всех, но с высоты не уходит. Назад нам нет дороги.

— Продержимся, товарищ комиссар, — отвечали уверенно бойцы, выдалбливая вдоль траншеи стрелковые ячейки и насыпая перед собой невысокие брустверы.

Веретенников подошел к Груздеву. Яков устанавливал вытасненный из дзота немецкий пулемет.

— Справишься? — спросил он.

Груздев поглядел на него так, словно обиделся.

— А почему ж не справиться, товарищ комиссар? Может быть, при вас испробовать?

— Но ты же его первый раз видишь...

— Это ничего не значит, товарищ комиссар. Немцы стреляли, а как же я не смогу?

И желая показать комиссару, что немецкая техника для него не такая уж мудреная вещь, он нажал гашетку и дал длинную очередь.

— Молодец, — сказал Веретенников. — А где же твой пулемет?

— Силантьеву отдал.

Как и предполагал комиссар, относительное затишье на высоте продолжалось недолго. Минут через пятнадцать немцы полезли в атаку сразу с трех сторон. Первым заработал пулемет Силантьева, прикрывающий правый фланг траншеи. Слева были пущены в ход гранаты. Их разрывы перемежались с дружными винтовочными выстрелами. Молчал пока только Груздев. Посланный комиссаром Юрий Бычков, который выполнял роль его помощника, вернулся и доложил обстановку.

— А почему молчит Груздев?

— Сейчас выясню.

Он выбежал из дзота. Но в это самое время показались близко немцы. Вопя и беспорядочно стреляя, они напролом лезли к траншее. И вместо того, чтобы узнать, почему не ведет огонь из своего пулемета Груздев, он вынужден был вступить в бой. Голоса немцев были так ясны, точно кричали уже около дзота, а Яков все еще молчал.

«Видно, заело что-то, — с досадой подумал Веретенников, торопясь к нему. — В такую минуту заело...»

Однако не успел комиссар подбежать к нему, как Груздев прострочил такой страшной, все сметающей очередью, что был удивлен даже сам Веретенников. А Яков дал такую же вторую очередь, но в обратном направлении. Немцев смело, как мусор веником. Увидев подле себя комиссара, он в приступе еще не остывшей ярости спросил:

— Как действуем, товарищ комиссар?

— Хорошо действуешь, — сказал Веретенников. — А что у тебя тут заело?

— Ничего, товарищ комиссар. Все в порядке. Это я решил их поближе подпустить. Думаю, пусть лезут. А потом, как подошла крайняя точка, — ну, и чесанул в два шва, чтобы крепче было. Я за все с них возьму теперь!

А из-под высоты опять нарастал шум, немцы шли во вторую атаку. Но ее так же отбили, как и первую.



Несмотря на некоторые потери, это настолько воодушевило бойцов, что кое-кто из них уже шутя начал покрикивать, желая развеселить своих товарищей:

— Что это немцы-то не идут? Или уж наелись свинцовой каши?

— Только не раздавайте по две порции, — стараясь поддерживать это воодушевление бойцов, говорил Веретенников, — не торопитесь. Гранаты и патроны надо всячески беречь. Стрелять навверняка. Имейте в виду, что это еще только цветочки.

И опять горькую правду сказал комиссар. К высоте почти вплотную подошел немецкий танк. Снаряд за снарядом он стал класть вдоль траншеи, напрочь срывая бруствер. Веретенников приказал убрать на время пулеметы, чтобы не побило их напрасно. Когда танк перебрал так всю траншею и внезапно смолк, снова кинулись немецкие автоматчики. Пока наши бойцы поднялись, отряхиваясь от земли, и были установлены пулеметы, автоматчики противника оказались совсем уже рядом. Еще одна минута — и они ворвались бы в траншею. Но им не суждено было воспользоваться этой короткой минутой. Их встретили таким огнем, что они вынуждены были откатиться и в третий раз. Казалось, что теперь каждый боец стрелял за двоих.

Танк подошел еще ближе и снова открыл огонь. И опять над траншеей рвались немецкие снаряды, со свистом проносились осколки и с шумом осыпались комья взметенной земли. Но самое страшное состояло в том, что ничего нельзя было поделать. Если бы имелась связь! Как она сейчас была нужна! Только она могла бы теперь оказать необходимую помощь. Можно было бы вызвать артиллерийский огонь, и если не подбить, то хотя бы отогнать немецкий танк. Однако связи этой не было.

Тогда один из бойцов, маленький, щупленький, которого замечали раньше только потому, что он был рядом, привязал к поясу несколько гранат, деловито и как-то слишком спокойно вставил в них запалы, приподнялся и громко сказал:

— Прощайте, товарищи, вспомните добрым словом Ивана Кузьмина!

Никто ничего не сказал ему на это. Напутственного слова идущему на смерть не говорят, а останавливать тоже нельзя, — он спасал в случае удачи жизнь многих. Но что подумал каждый из сидевших в траншее под разрывами снарядов танка, трудно передать. Это можно понять только потому, что несмотря на губительный вражеский огонь, Силантьев и Груздев начали стрелять из своих пулеметов, расчищая путь Ивану Кузьмину. Это был путь в бессмертие, и очереди пулеметов были ему прощальным салютом.

Волоча окровавленную, разбитую в колени ногу, Кузьмин пополз прямо к танку. Веретенников видел, как он скрылся между гусениц, и почти в то же мгновение раздался оглушающий силы взрыв. Когда комиссар отнял от лица ладони, вместо танка лежала куча исковерканного металла, охваченного огнем. Комиссар овладел собой и сказал в наступившей тишине:

— Вечная слава Ивану Кузьмину, защитнику Родины. Поклянемся, товарищи, перед его светлой памятью выполнить свой долг до конца. Пусть его подвиг станет примером для нас.

— Клянемся, товарищ комиссар, — первым откликнулся Силантьев, — перед партией нашей клянемся, перед товарищем Сталиным. Не посраим себя. Не отдадим высоту немцам.

— Не отдадим, клянемся, — понеслось отовсюду.

## XI

Одиннадцать атак выдержали наши бойцы до наступления темноты. Одиннадцать раз немцы приближались к траншее. И все одиннадцать раз откатывались обратно. От снарядов танков, от гранат и автоматных очередей края траншеи были срезаны, обсыпаны. Казалось, что в этой полуобвалившейся траншее ничего уже не может уцелеть живого, способного еще сопротивляться. Но при каждом очередном броске немцев со дна траншеи вновь поднимались наши люди и вели убийственный огонь. Они как бы воскресали из мертвых. И сколько ни бесновались немцы, они все же ничего не могли сделать.

Противник потерял так много убитыми, что трупы его солдат лежали буквально вповалку перед высотой. Однако и наши бойцы понесли большой урон. Здоро-

вых людей, способных еще держать и отстаивать тот клочок земли, на котором они находились, было до полутора десятка. Этой горсткой непреклонных и отважных людей командовал Юрий Бычков. Тяжело раненый комиссар лежал в дзоте. Туда же снесли и еще несколько раненых бойцов. И хотя Бычкову теперь приходилось и командовать людьми во время очередной атаки немцев, и следить за помощью раненым товарищам, нуждавшимся в перевязках, в глотке простой воды, которой давно уже не было в уцелевших флягах, он все-таки не растерялся, смело принял на свои плечи эту тяжелую и неожиданную ношу.

Комиссар лежал в дзоте прямо на земле, истекая кровью. Повязки быстро намокали, их заменяли другими, но кровь никак не удавалось остановить. Положение Веретенникова с каждым часом становилось все более угрожающим. Он начинал уже впадать в забытие, бредить.

Отбив последнюю немецкую атаку, Бычков прибежал в дзот, в котором было совсем уже темно, склонился над комиссаром и положил свою ладонь ему на грудь против сердца. Веретенников почувствовал прикосновение ладони и, поняв, кто это, совсем тихо сказал:

— Не беспокойся, я жив... Я дождусь своих. Нам только бы удержать высоту.

Ему трудно было говорить, и он помолчал с минуту. В тишине дзота было слышно его редкое, как бы захлебывающееся дыхание.

— А немцы все лезут? — спросил комиссар после паузы.

— Лезут, — негромко ответил Бычков.

— Мы их дождемся, — опять заговорил комиссар, и Бычков понял, что он говорит это не только для него, но и для тех раненых, которые находились вместе с ним в дзоте. — Может быть, даже придут ночью... Но утром обязательно. Капитан прорвется утром обязательно... Мы их дождемся. И победы дождемся... Она придет, наша победа. Хорошо думать, что она придет. Не все дождутся этого большого дня, но каждого вспомнит родина, никого не забудет. Пройдет много лет, а нас все будут помнить. Скажут: они защищали Сталинград! Они спасли Родину!

Бычков слушал комиссара, едва сдерживая подступившие к горлу рыдания. И может быть, расплакался бы, как мальчишка, если бы в это время не послышался из траншеи голос:

— Товарищ младший сержант, опять немцы ползут!

Веретенников чувствовал, как вместе с кровью из него постепенно уходила жизнь. Он не столько страдал от физической боли, сколько от сознания того, что он теряет над собою власть. Он боялся, что в минуты забытья он станет бредить, кричать, усиливая и без того тяжелое состояние тех, кто лежал рядом с ним. Страдая от боли, бойцы тем не менее крепились и молчали, потому что крепился и молчал комиссар. Даже в этом они старались походить на него. Веретенников слышая, как пулеметчик Груздев, раненный в голову, сказал своему товарищу, который не стерпел и простонал сквозь зубы:

— Тише, ты.

— Не могу, все печет внутри, как угольев горячих туда насыпали.

— А комиссару, ты думаешь, легче? А он вот держится...

Да, Веретенников старался держаться насколько мог. Но проходило некоторое время, и он опять чувствовал, как на него набегала какая-то волна, подхватывала, все окружающее делалось зыбким, и сознание меркло. И вот вместо выстрелов, которые он слышал после ухода Быčkoва, вместо дыхания лежащих рядом с ним раненых бойцов, сделавших все, на что они были способны, комиссар видел маленькую деревню, стоящую на высоком берегу речки. Избы веселые, с резными наличниками. На коньках крыш застыли железные птицы с длинными, загнутыми вверх хвостами. Единственная улица покрыта густой муравой. По ней ходят наседки, окруженные выводками цыплят, похожих на желтые мячики. Вызывая крик наседок, по улице бежит босоногий мальчишка в коротких штанах с одной помочей через плечо. В руках у него банка и удочка. Он спускается по извилистой тропе к речке, поросшей у берегов желтыми и белыми лилиями.

Маленькая тихая деревня неожиданно сменяется большим шумным городом. Вместо босоногого мальчишки по широкой, залитой асфальтом улице идет юноша

с еще острыми, неокруглившимися плечами, но уже с первым пушком на верхней губе. Он студент педагогического института.

Спустя несколько лет он становится преподавателем естествознания в старших классах средней школы. Одновременно с этим — он лектор городского комитета партии. Несколько позже его назначают заведующим Дома партийного просвещения. А потом он едет на фронт комиссаром батальона.

Вернулся Бычков. Из темноты кто-то сказал:

— Товарищ младший сержант, а комиссару-то совсем плохо. То чего-то бредил, а теперь и мучиться перестал. Посмотрите, жив ли он.

Юрий почувствовал, как от затылка до пят пробежал знобящий холодок. Он присел к комиссару и потрогал у запястья его левую руку, липкую от крови.

— Пульс бьется...

— Ну, значит, жив, — сказал с облегчением тот же голос. — Только бы дождаться своих... Такому человеку нельзя умирать. Сколько он еще может сделать всяких больших дел. Его надо обязательно сберечь.

— А что можно сделать? — спросил Бычков, как бы не доверяя самому себе.

— Отправить в батальон, — сказал решительно Груздев. — Теперь уже все равно...

— Опасно, убьют. Под высотой немцы. Они сразу заметят.

— Может и не заметят.

— А что, товарищ младший сержант, в самом деле, почему не попробовать? — спросил все тот же голос из темноты. — Хуже будет, если товарищ комиссар.. А там доктора... Они примут меры, какие нужно.

— Мы проводили Кузьмина, насмерть шел, — с бесновощадной суровостью заговорил Груздев, — почему не можем для комиссара проложить дорогу к жизни? Прикажите поставить два пулемета — они и расчищают дорогу. Силантьев знает как, он умный на это.

Бычков и сам думал о том, чтобы с наступлением темноты постараться как-нибудь отправить комиссара в расположение батальона. Но это было слишком рискованно. И он колебался. Когда же он увидел, что положение комиссара с каждым часом становилось все более угрожающим и не было уверенности в том, что

он проживет до утра, — решение созрело само собой. Тем более, никто не знал, что принесет им утро. Может быть, им придется здесь всем умереть, защищая высоту. И пока еще не поздно, надо было спасти комиссара.

— Но кого послать? Людей же нет, — сказал Бычков.

Веретенников заметался, забормотал, начал выкрикивать какие-то бессвязные команды.

— Все равно один конец, товарищ младший сержант, — сказал Груздев. — Разрешите, мы с Чижовым донесем.

— Да как же вы пойдете? Вас самих надо нести.

— В другое время так... А сейчас мы дойдем и комиссара донесем, — послышался все тот же голос из темноты. — Из последних сил, а донесем товарища комиссара.

Бычков понимал, какую ответственность он брал на себя, отправляя комиссара в батальон, да еще с такими бойцами, которые сами были тяжело ранены. Но другого выхода сейчас не было. И подумав, он согласился. Растянули на две винтовки плащ-палатку, положили на нее комиссара. Ноги его свисали с плащ-палатки и шаркали по земле. Нести было страшно тяжело и неудобно, особенно Чижову, который шел позади. Бычков проводил их до полусклона высоты, невольно подумав о том: как все-таки велики сила и вера в советском человеке. Сами уже полуживые, истекающие кровью, они все же несут раненого комиссара. Когда он вернулся в траншею, справа и слева одновременно открыли огонь наши пулеметы, прокладывая комиссару дорогу в жизнь, как сказал Яков Груздев.

Немцы под высотой, услышав пулеметную стрельбу, всполошились, забегали и заметили Груздева и Чижова только тогда, когда они уже миновали окопы. Пулеметные очереди прижали немцев к земле. Но выпущенной наугад автоматной очередью противника был смертельно ранен Чижов. Он прошел еще десяток шагов, сказал: «Не помощник уж я тебе, Яков, неси один» и повалился замертво. Груздев с трудом взвалил себе на спину комиссара и, сгибаясь под его тяжестью, пошел большими шагами, опасаясь того, что если упадет, то не сможет уже подняться. Но сил в нем оставалось

все меньше и меньше. И когда они иссякли, казалось, совсем, Груздев запел. В нем ничего не осталось, кроме песни, которая одна пока была способна вести его вперед. В ней жила неукротимая сила души, которая была сильнее измученного раненого тела.

## XII

Хотя три танка из шести и были подожжены, но немцам все же удалось оттеснить наших бойцов от высоты. Спустя некоторое время Мезенин повел уже значительно поредевший батальон в решительную атаку, стремясь прорваться к высоте и соединиться с группой Веретенникова. Но успеха не имел. Немцы подбросили подкрепление, усилили артиллерийско-минометный обстрел, создав перед позициями батальона непроходимую стену огня. Последняя атака была проведена уже в сумерках, однако, и она не дала нужного результата. Несмотря на все попытки, даже не удалось установить с высотой связь. О том, что там наши люди живы и ведут упорную борьбу, Мезенин знал только по доносившимся оттуда выстрелам и разрывам гранат. Но какое положение бойцов, сколько у них боевых припасов и как они долго могут еще продержаться, Мезенин, конечно, не мог знать. И это больше всего беспокоило его.

Вечером приехал полковник, командир дивизии, коренастый человек с широкими, чуть вздернутыми кверху плечами, плотно обтянутыми стареньким кителем. Он вошел в блиндаж впереди Мезенина, выбежавшего встречать его, сел на постель комиссара и, приподняв картуз, вытер платком гладко выбритое лицо.

— У тебя вода найдется? — спросил командир дивизии.

— Должна быть, товарищ полковник. Разрешите на одну минуту...

— Ну, ну, похлопочи.

Мезенин вышел и крикнул ординарца.

— Немедленно кружку воды для полковника, — сказал он почти шопотом.

Он дождался, пока Гриша налил, и, подавая кружку командиру дивизии, предупредительно сказал:

— Только сырая, товарищ полковник...

— Ничего, ничего, у других командиров батальонов никакой нет. Без воды сидят, а старшин держат. А если у командира нет, значит и у бойцов нет. Черти!..

Командир говорил так, словно он мучительно страдал от жажды, но выпил всего несколько глотков. И Мезенин понял, что это было только вступлением к предстоящему разговору.

— Страдаешь? — вдруг в упор спросил командир дивизии.

Мезенин знал его характер и ответил открыто и прямо:

— Страдаю, товарищ полковник.

— Да, понимаю, понимаю.. Трудно быть спокойным.

— Хотя бы связь была с высотой. Что у них там, в каком положении люди — ничего неизвестно. Живыми они оттуда не уйдут. Это я знаю. Они будут драться до последнего человека. Но у них могут кончиться боеприпасы. И это самое страшное, товарищ полковник. Вот этого я и боюсь. А немцы и ночью не оставят их в покое. И тогда придется все начинать сначала.

Командир дивизии смотрел в осунувшееся лицо Мезенина с воспаленными от бессонницы глазами и думал: сейчас сказать ему о своем уже твердо принятом решении или позже.

— Что ты предлагаешь? — спросил он.

— Разрешите, товарищ полковник, еще раз пойти в атаку.

— А возьмешь высоту?

— Сделаем все, на что способен мой батальон, чтобы потом не думали... — Мезенин не решился продолжать, боясь сказать лишнее.

— Говори, говори, — разрешил командир дивизии.

— Я знаю, о ком ты хочешь сказать: о начальнике штаба полка Хорькове. Так?

— Да.

— Впрочем, о нем уже не стоит вспоминать. Оказался пустым и кичливым человеком. Война, как видите, быстро проверяет людей. А другие, насколько мне известно, ничего плохого не могут подумать о тебе. И лично мое мнение такое же. Хотя сейчас ты рассуждаешь несерьезно. Не мне бы это слушать от тебя. Я понимаю твое состояние. Будь я на твоем месте, возможно, и я так же думал. Но сострадание не всегда



хороший советчик. Собственно, всегда плохой советчик.

Полковник помолчал, потом решительно поднялся и сказал уже официальным тоном:

— Атаку назначаю на семь тридцать. Вас поддерживает батальон старшего лейтенанта Шишкова. Истребительная батарея старшего лейтенанта Усольцева будет следовать в боевых порядках пехоты. Приказ об этом получите из штаба несколько позже.

— Слушаюсь, товарищ полковник! — козырнул Мезенин.

— Провожать меня не надо, — сказал командир дивизии, — а вот о своем отдыхе позаботься. Как бы ни было тяжело, а спать все равно надо.

Несмотря на советы полковника, Мезенин все же не спал и эту ночь. Вскоре он отправился в роты, чтобы сообщить командирам о предстоящей атаке и лично проверить положение в ротах. Когда он пришел к Яблокову, замещавшему трагически погибшего старшего лейтенанта Климова, и выслушал его доклад, со стороны высоты неожиданно послышалась песня. Капитан остановил Яблокова и прислушался. Песня приближалась.

— Что это такое? — с тревогой спросил лейтенант.

— Отдайте бойцам команду приготовиться, — сказал Мезенин.

— Есть отдать команду приготовиться... — повторил лейтенант и побежал вдоль окопов.

Мезенин присел, вглядываясь в темноту, и на фоне едва освещенного звездами неба с трудом различил какую-то большую и уродливую тень. Пел один человек. Но тень была не одного человека. И это показалось ему несколько загадочным. Не пустились ли немцы на какую-нибудь хитрость или на подлое изуверство, когда они, захватив бойцов, подвергали их нечеловеческим пыткам, а затем исколотых ножами, с раздробленными конечностями пускали обратно в расположение наших частей.

— Это Груздев, пулеметчик, — послышались голоса бойцов, выбежавших навстречу поющему человеку.

Груздев не дошел метров десять до окопов и упал, продолжая в беспамятстве петь песню, видимо, ему казалось, что он все еще продолжал идти по степи. Ме-

зенин нагнулся, взгляделся в рядом лежащего с пулеметчиком человека и застыл в изумлении. Это был комиссар.

Мезенин опустился на колени.

Веретенников очнулся и, не открывая глаз, тихо спросил:

— Немцы все лезут?

Ему показалось, что над ним склонился Бычков.

— Это я, Алексей Иванович, — сказал капитан, — это я, Мезенин...

— Значит, прорвался к нам? — значительно громче и отчетливее произнес комиссар. — Я знал, что ты сумеешь прорваться. Ты настойчивый... Бойцы верили в тебя. Они так дрались... Какие это люди, Григорий Петрович... Какие наши люди!..

Мезенин понял, что комиссар находится в полусознательном состоянии. И когда прибежал военфельдшер с Катей Захаровой и санитаром, принесшим носилки, он сказал:

— Скорее, скорее отправляйте его. И прямо в медсанбат. За лошадью послали?

— Лошадь стоит у санчасти, наша дежурная повозка, — сказала Захарова.

— Несите комиссара к санчасти и сразу на повозку. Ты, Катя, поедешь с комиссаром. Дождешься там, все узнаешь, а потом придешь и мне доложишь. Ты меня поняла, Катя.

— Поняла, товарищ капитан.

Мезенин шел около носилок комиссара до самой санчасти, дождался, пока не положили комиссара и Груздева на повозку и она не скрылась в темноте, звонко погромыхая по укатанной дороге ошинованными колесами. Потом он медленно пошел к своему блиндажу, глядя прямо перед собой в непроницаемую темноту. Что у него было в душе, знала только эта темная степная ночь, потому что, вернувшись в блиндаж, он застал там пришедшего к нему связиста Иголкина, и надо было быть все тем же командиром батальона, каким привыкли видеть его бойцы.

— Ты что пришел? — спросил капитан, ничем не выдавая своего душевного состояния.

— Разрешите доложить свои соображения.

— Слушаю тебя, Иголкин.

— У меня такие мысли, товарищ капитан, что не могу я сидеть спокойно. Разрешите пойти на высоту. Я проползу, я хитрый на это и нитку протяну, связь будет.

Мезенин помолчал.

— Но ты же катушкой будешь греметь, — сказал капитан, а сам подумал о том, что Иголкина надо отпустить, потому что ему нужна была сейчас, как никогда, связь с высотой.

— Я катушку-то здесь оставлю, а к поясу привяжу конец провода.

— Разрешаю, иди, но только тихо. На всякий случай возьми гранаты.

— Это я уже все обдумал, товарищ капитан. Целый вещевой мешок набил. И гранаты и патроны... для ребят.

— Благополучно доберешься, дай знать очередь из автомата.

Иголкин толкнул локтем в бок Гришу, сидевшего с ним рядом, и побежал к выходу, но потом остановился, козырнул и сказал:

— Разрешите выполнять?

— Выполняй...

— Он меня тут весь вечер инструктировал, — сказал Гриша, — так что я теперь вполне могу работать телефонистом.

Мезенин допил воду, оставшуюся еще от командира дивизии, и откинулся к стене, закрыв глаза.

— Вы, может быть, отдохнули бы, товарищ капитан? — спросил Гриша.

Мезенин не ответил, продолжая сидеть в той же позе. Мысленно он был сейчас там, на высоте, вместе с бойцами. Оттого, что он находился в блиндаже, а не в траншее, ему не было легче. Их упорство, надежды на успешный исход дела, их страдания и тревоги были так же и его надеждами и тревогами. И хотя ни комиссар, ни Груздев не проронили ни одного слова, Мезенин теперь хорошо понимал, что пришлось пережить и испытать там бойцам, отстаивая клочок родной земли. И с тем большим нетерпением он хотел, чтобы скорее наступил рассвет.

Вдруг над степью прокатилось громкое эхо от взрыва гранаты. Вслед за ним застелились трассирующие оче-

реди автоматов. Потом разорвалась вторая граната, третья...

«Не прошел», — сокрушенно подумал капитан о связисте Иголкине.

Не оправдалась и эта маленькая надежда. Теперь уже ничего не оставалось делать, как терпеливо ждать рассвета, когда начнется намеченная командиром дивизии атака.

Мезенин взял со стола планшетку и достал из нее фотокарточку дочери, восьмилетней Алочки, которую он любил так незабвенно и горячо, как только может любить отец свою единственную дочь. Эту карточку он получил вместе с последним письмом жены перед самым отъездом на фронт и в дороге часто показывал ее Веретенникову, спрашивая с восхищением и гордостью: «Хороша дочка?»

С карточки глядела девочка в белой блузке с матросским воротником, открывавшим ее тонкую высокую шейку, на которой гордо держалась точеная головка с короткими и вьющимися белокурыми волосами. Под стремительно вздернутыми бровями глядели большие голубые глаза, освещаая все лицо тем особым светом, который придает ему одухотворенное выражение маленького человека, уже начинающего сознавать, что впереди у него целая жизнь. Пухлые губки были сложены так, что, казалось, Ала только что над чем-то весело смеялась и оборвала смех по просьбе фотографа, смиренно сложив губки, но в них еще трепетала эта улыбка, готовая появиться вновь на всем лице, как только фотограф сделает свое дело.

Мезенин хотел поцеловать карточку, но в это время за плащ-палаткой послышались тяжелые шаги. Капитан наскоро застегнул планшетку и встал. Плащ-палатка отдернулась, затрещала, и в блиндаж вошел старший лейтенант Шишков.

— Ты не спишь? — сказал он, дергая Мезенина за руку и сажая его на постель, точно был хозяин этого блиндажа.

— Как видишь...

— О приказе знаешь?

— Да.

— Получил?

— Командир дивизии сказал.

— Так он у тебя тоже, значит, был? Кричал?

— Нет. Наоборот, был очень мягок.

— А мне, знаешь, такую баню задал! И как ты думаешь: из-за чего? Воды не оказалось. Попросил напиться, а воды как на грех. и нет. Он и давай, и давай строгать меня!

Мезенин улыбнулся первый раз за эту тревожную ночь.

— Но, как говорится, все обошлось благополучно. Приказано поддержать тебя. Чему я очень, конечно, рад. Кусочек твоей славы и мне, значит, перепадет!

Шишков громко рассмеялся, потянулся к Мезенину и дернул его за руку.

— Роты сейчас уже подходят, может быть, ты проводишь меня, посоветуешь, как их лучше расположить? А то скоро начнет рассветать.

Мезенин встал и надел пилотку. Они уже вышли, когда послышался голос Кати Захаровой:

— Это вы, товарищ капитан?

Мезенин вернулся в блиндаж, почувствовав, как у него упало сердце в ожидании чего-то страшного. Катя стояла потная, возбужденная. Она, видимо, бежала от самой санчасти.

— Ну, что же ты молчишь? — спросил нетерпеливо Мезенин.

— Доктора сказали, что комиссар будет жив.

Мезенин обнял девушку, крепко поцеловал ее в теплые губы и с резвостью мальчишки выбежал из блиндажа.

### XIII

На рассвете явился командир полка. Мезенин доложил ему о готовности к атаке. Маленький, нетерпеливый, с острым лицом и быстрыми пронизательными глазами, подполковник слушал Мезенина и пощипывал на кончиках пальцев перчатки, словно хотел снять их и не мог. И если бы капитан не знал эти особенности командира полка, то, вероятно, подумал бы о том, что тот невнимательно слушает его. Но как только Мезенин кончил докладывать, подполковник сказал:

— А теперь веди меня на свой командный пункт.

Прямо от блиндажа вверх и несколько в сторону тянулся неглубокий ход сообщения, в конце которого

находилась обычная открытая щель. Это и был батальонный наблюдательный пункт. В нем могли поместиться всего два человека, не считая телефониста.

— Обзор хороший, — сказал подполковник, когда они спрыгнули в щель. — Все небо видно.

— Накрыть нечем, товарищ подполковник.

— Да будет тебе... На блиндаж-то нашел досок.

— Он был до меня сделан.

— Любите вы, командиры батальонов, быть квартирантами. А нет, чтобы самим постараться сделать.

— Я не рассчитывал долго пробыть в этой щели.

— Не рассчитывал... Бойцов-то заставил улучшить окопы! И я похвалил тебя за это и в пример другим поставил. Правильно сделал. Солдат надо беречь. Но себя тоже не следует забывать. Так-то!

Командир полка посмотрел, как телефонист устави свой аппарат, прилег к нему, завернувшись в шинель, покрутил ручкой и, подув в трубку, весело спросил:

— «Волга»? Говорит «Днепр»... Проверочка линии.

Подполковник показал на телефониста глазами:

— Вот у кого нам всем надо учиться. Пришел — и через минуту, как дома. Хозяин! А мы не всегда так умеем делать... Ну, ладно, уже светает. Иди. Да помни: все время держи со мною связь.

Мезенин пришел в окоп, в котором находился вчера командир роты Климов, и, прислонившись к стенке, стал глядеть в сторону высоты. Там было совсем тихо. Так же было тихо и над окружающей степью. Только откуда-то издалека, может быть, из Сталинграда, доносились глухие, чуть слышные артиллерийские выстрелы. Капитан поглядел на часы. До начала атаки оставалось еще двадцать минут. Как Мезенину хотелось сейчас услышать на высоте хотя бы один винтовочный выстрел, чтобы знать, что там имеются наши живые люди. Но они молчали. Неужели они все погибли? В это так не хотелось верить. Но и нельзя было об этом не думать.

Пепельная дымка, стоявшая над степью, быстро таяла. Высота все отчетливей начинала вырисовываться на фоне светлеющего неба. Вдруг Мезенин увидел, как на выступе что-то показалось. Он вскинул бинокль и тут же уронил на сложенные руки голову. Вся тревога, которая всю ночь не давала ему покоя, исчезла, как

пепельная дымка над степью. На душе стало ясно и легко. Кажется, большего счастья Мезенин еще не испытывал. Он глядел, откинув голову, перед собой и улыбался в пространство. Над выступом высоты на штыке винтовки был выставлен красный лоскут. Значит, там были живы наши бойцы, и им принадлежала высота.

«Значит, они берегут патроны», — подумал капитан. Позвонил командир полка:

— Ты видишь, Мезенин, держатся. Сигнал подали...

— Вижу товарищ подполковник, вижу! Держатся!

— закричал в телефонную трубку Мезенин, не будучи в силах сдержать овладевшего им чувства радостного восторга.

Кажется, еще никогда не шло так медленно время, как сейчас. Мезенин то и дело смотрел на часы. Нетерпение достигло своего предела, когда на высоте послышались автоматные очереди и взрывы гранат. Там начинался бой. И, как бы откликаясь на него, ударили наши тяжелые минометы и полковая артиллерия, подтянутая за ночь к высоте. Мезенин торопливо выпустил одну за другой три красных ракеты, что означало сигнал к атаке.

Лейтенант Яблоков, который всегда казался излишне медлительным и мало самостоятельным человеком, первым выскочил из окопа и, крикнув «ура», побежал вперед, увлекая за собой бойцов.

«Молодец, надо отметить», — подумал Мезенин и тоже побежал вперед, сказав телефонисту:

— Не отставать от меня!

Под прикрытием своих минометов и артиллерии бойцы, не останавливаясь, устремились к высоте, где находились их товарищи, выдержавшие на себе столько атак немцев и показавшие всем пример мужества и отваги. Боевое «ура», подхваченное теперь сотнями людей, все ширилось и крепло.

Откуда-то били немецкие пулеметы, падали и рвались мины. Но все уже было поздно. Так часто бывает на войне: и обстрел, кажется, тот же, и опасность для отдельного человека та же, а все-таки чаша весов склоняется в нашу сторону. Ничто уже не может удержать бойцов. Потрясающее возмущение «ура» катится все дальше, дальше—и, вот оно гремит уже над высотой.

Первым, кого Мезенин встретил в траншее, был Поликarp Силантьев. Весь грязный, осунувшийся и безмерно уставший, тот стоял перед капитаном и молчаливо улыбался, точно был не в силах произнести хотя бы одно слово.

— Выстояли, значит, Поликarp? — сказал капитан.

— Выстояли, товарищ капитан, не осрамились, — ответил Силантьев, едва держась на ногах.

— А где младший сержант Бычков?

— Там, — махнул Поликarp рукой вдоль траншеи.

Капитан нашел его около дзота. Бычков, такой же грязный и такой же уставший, взял под козырек, чтобы доложить обо всем командиру батальона, но Мезенин остановил его:

— Все ясно, можешь не докладывать. Отлично действовали.

— А как же иначе! — с неожиданным задором ответил Бычков, точно все так и должно было случиться и ничего другого он не допускал для себя и своих товарищей.

Мезенин поднялся вместе с Бычковым на выступ, и в ярком свете восходящего солнца ему показалось, что вдали, переливаясь, блестела Волга и виднелся Сталинград.





В. Жуков

## ДОРОГА

Я городов не помню. Мне едва  
Одну дорогу воскресить пока,  
Где по кюветам черная трава  
Да лошадей раздутые бока...

Там не пройти без боя и версты...  
Товарищ мой, прикрою лишь глаза—  
И вот они, разбитые мосты,  
И вот они, горелые леса.

Но если спросишь ты сейчас меня:  
Такой-то город брал я или нет?  
Припомнив вихрь железа и огня,  
Я промолчу, наверное, в ответ.

Но если скажешь ты, что там трава  
Была темна от крови и мертва,  
Что день и ночь безустали вокруг  
За каждый камень бились и чердак, —  
Я не солгу, если отвечу так:  
— Пожалуй, брал я этот город, друг!

А если дальше ты начнешь пытаться  
Про наш плацдарм на тисском берегу,—  
Я промолчу, наверное, опять,  
И показать на карте не смогу...

Но если сам ты видел город Чоп  
И дальний берег в пламени, в дыму,  
Так ты меня не спросишь ни о чем,  
И, значит, карты будут ни к чему...

Я не писал на фронте дневников  
И позабыл названья городов:  
Их слишком много было на пути,  
Пока в родной мне довелось войти.

## БАЛЛАДА О СОВЕТСКОМ АРТИЛЛЕРИСТЕ

Не с победного парада —  
Много раньше и прочней,  
С первым грохотом снаряда  
Ты вошел в мою балладу  
С ледяных,  
иных ночей.

Это ты в тридцать девятом,  
Озорной,  
родной навек,

Под тревожный гул набата  
Шел дорогою солдата;  
После боя падал в снег  
Продымленный и усталый.  
На ногах—едва заря  
Через лед трухлявый,  
талый

Это ты тянул по скалам  
Трехдьюмовку в Кямяря.  
Это ты, пробив ворота  
В той смертельной полосе,  
День и ночь гвоздил по дотам  
И потом бесповоротно  
Встал на Выборгском шоссе...  
Молодой,

веселый,  
складный,

Без коня и на коне,  
С той войны, войдя в балладу,  
Ты всегда со мною рядом  
И по этой шел войне.  
Шел—чем дальше, тем победней,—  
В стужу,  
в ростепель

и зной,



Только вышел срок домой,  
Ты предстал пред военкомом,  
Пред своим родимым домом,  
Перед всей своей родней.  
Значит, кончен бой кровавый...  
Жив,

здоров

и сердцем чист,  
Ты с войны пришел со славой,—  
До утра гуляй по праву,  
Пей — не грех,  
артиллерист!

Только тех,  
кто шел с тобою,  
Кто торил к победе путь  
Сквозь огонь от боя к бою,  
Кто не выжил — пал героем,  
Помянуть не позабуди!..  
...Ты по улице Советской  
Вновь идешь...

Поет гудок—

Мирно,

весело,

не резко.

Лишь под обувью армейской  
Молодой скрипит ледок...  
Из пушкарской грозной части  
В цех,

к которому привык,

Вновь вернулся ты на счастье—  
Не пушкарь, а ткацкий мастер  
Ныне — бывший фронтовик!

### ПОД МОСКВОЙ

Мы клялись до конца  
Постоять за родную столицу,  
Умереть, но не дать  
Надругаться над нею врагу.  
Беззаветной отвагой  
Дышали солдатские лица,  
Кровь товарищей павших  
Алела на белом снегу..

Тишина нас давила.  
Но что-то великое было  
В этом скорбном молчании  
Пред адом огня и свинца.  
И росла, и вскипала  
В крови богатырская сила,  
Как живая вода,  
Окрыляя, входила в сердца.

За синеющей дымкой,  
За снежной густой пеленою,  
Здесь — рукою подать —  
Начиналась родная Москва,  
С той, седой от столетий,  
Старинной кремлевской стеною,  
От которой до нас  
Донеслись дорогие слова,  
Где, очей не смыкая,  
Склоняясь над картой военной,  
Мудрый вождь — полководец  
Уже передвинул флажки.

И родная земля  
Вся в крови выходила из плена,  
И на запад, к победе  
Уже устремлялись полки.

От великих забот  
Побелели виски полководца,  
Сетка резких морщинок  
Легла паутинкой у глаз.

Он доподлинно знал,  
Как нам тяжело в сраженьях придется,  
Знал, и в эти минуты  
Он думал о каждом из нас.

И когда приказал он, —  
Был голос спокойный и ровный, —  
Мы рванулись вперед  
Вслед за яростным валом огня.

И немецких укрытий  
Взлетали разбитые бревна,  
И гудела земля,  
И на танках трещала броня...

Мог ли знать рядовой,  
Что кончались суровые беды,  
Что заря над Россией  
Вставала навеки светла?!  
На Можайском шоссе  
Начиналась дорога победы, —  
Та, что в майские дни  
Сквозь огонь нас в Берлин привела.

---

М. Бритов

## В БОЮ

Мы сегодня весь день не ели  
И не пили весь день воды.  
На лице корой затвердели  
Пот и едкой гари следы.

Заливая огненной сталью,  
Рвался в хмельной ярости враг.  
Пред врагом мы на смерть стояли,  
Отразив тринадцать атак.

Оглушали ревом орудья.  
И весь день, за часом—час,  
Любовно, горячей грудью  
Родная земля защищала нас.

И никто не мог оторваться  
От взметенной, шаткой земли.  
Стало серым небо казаться,  
Тучи пыли нас замели.

Мы тринадцать атак отбили  
И познали в этом бою,  
Как глубоко мы жизнь любили  
И вот эту землю свою.

И мы выдержали, устояли.  
Отразили напор врага,  
Сильнее огня и стали  
Правда, мужество большевика.

## ФРОНТОВАЯ ОСЕнь

Ледком покрылись на дорогах лужи.  
Заиндевила блеклая трава.  
Обожжена цветистая листва  
Дыханием осенней бодрой стужи.

В прозрачном воздухе недвижимо висят,  
Застывши, пряди тонкой паутины.  
Израженные немцами осины  
Листвой кровавой трепётно шумят.

Неубранная, почернела рожь,  
К земле склоняясь скорбно, сиротливо.  
Промчится полем ветер торопливый—  
Поникшие колосья бросит в дрожь.

И осыпается набухшее зерно,  
Не собранное любящей рукою.  
Здесь тишина сурового покоя.  
Здесь все врагом разбито, сметено,

И положив на землю автоматы,  
Как в мирные, счастливые года,  
Средь тяжких дней военного труда,  
Сбирали урожай, войною смятый.

Любовно собирали каждый колос  
И сберегали каждое зерно.  
И было сердце радости полно —  
С врагом и в этот миг мы все боролись.

Окончив труд и вскинув автоматы  
За плечи, мы своим путем пошли.  
Мы ненависть к врагу в душе несли  
И жажду неумную расплаты.

Сентябрь 1943 г.  
Ельня.



## ВЕРНОСТЬ

И сквозь грохот боев и страданья,  
Как на свежих цветах росу,  
Я любовь через все испытанья  
И мучительные ожидания  
Нерастраченной пронесу.

Только в дни войны научились  
Жизнь любить и ценить до конца.  
И в походах, в боях закалились.  
И в одной мечте воплотились  
Наши помыслы и сердца.

Пусть в походах мы поседели,  
Обожгла нас разлука тоской.  
Часто смерть нам в глаза глядела,  
Вместе с нами в траншеях сидела  
И касалась сердца рукой.

Но к желанной минуте свиданья,  
Как на свежих цветах росу,  
Я любовь—через все испытанья  
И мучительные ожидания  
Нерастраченной пронесу.

Октябрь 1943 г.,  
м. Любавичи (под Оршей).

## НА СТРОЙКЕ

Среди руин обгорелых труб,  
На выжженной земле,  
Усыпанной золою,  
Встает на пепелище новый сруб,  
Блестя на солнце сочною смолою.

Как мед, густа душистая смола,  
Струится, радугой весеннею блистая.  
Все воскресает,  
Что война смела  
Дыханием огня  
И громом стали.

Старательны усатые саперы,  
Рука в размахе творческом тверда.  
Полны веселой радости их взоры.  
Согреты волнением труда.

Пусть мирного труда недолги дни.  
Но созидањем сердце обогрето.  
Война окончится,  
Вернутся вновь они  
К работе,  
Точно к песне недопетой.

Июль 1944 г.,  
г. Опочка.

\* \* \*

Полены запах... Тишина... Безлюдье...  
Растерзанный  
Березовый пейзаж.  
Горелый танк,  
Разбитые орудья,  
Снарядами разметанный блиндаж.

Осыпались и поросли окопы  
Крапивой,  
Одичалою травой.  
За ржавой проволокой узенькие тропы  
Хранят непо потревоженный покой

Все это так привычно и знакомо  
Тем, чьи сердца войной опалены.  
Лежат, вращая в землю,  
Груды лома —  
Убитые орудия войны.

Здесь наша месть дорогой наступленья  
Прошла безжалостна,  
Правдива и строга.  
И отравляет воздух запах тленья  
Не взятого могилами врага.

Война окончится, —  
Залечивая раны,  
На мирный труд  
Поднимется страна,  
Врезая плугом заросли бурьяна,  
Поля засыплет золотом зерна.

В работе созидательной, упорной  
Померкнут бурные  
Военные года.  
Мы переплавим ржавый лом любовью  
В орудия счастливого труда.

Май 1944 г.  
Ново-Ржев

## ПОСЛЕ БОЯ

Как шум приглушенный прибоя,  
Как утомленная волна,  
Уходит дальше грохот боя,  
И наплывает тишина.

Звучит негромко хриплый говор,  
Махорочным дымком несет.  
И уцелевшим в битве повар  
Обед и ужин раздает.

И точно раньше, на покосе,  
Пот рукавом смахнув со лба,  
Сидит солдат седоволосый  
У придорожного столба.

Вечерний ветер обвевает  
Его натруженную грудь.  
Солдат глядит вперед — он знает,  
К победе путь — не легкий путь.

Пусть много испытать придется  
В походах горестей и бед,  
Но ровно, мерно сердце бьется  
Под гимнастеркой в партбилет.

И с жаждой жизни неуемной  
Пройдет он путь свой до конца.  
...Восприняли как труд огромный  
Войну солдатские сердца.

1944 г., Рига.

## ПОХОД

*(Из фронтового дневника)*

К Хингану, на врага, в поход  
Мы шли монгольской пустыней.  
И раскаленный небосвод  
Над нами белый был, не синий.  
Нас солнце нестерпимо жгло.  
Оно на плечи нам легло  
Тяжелой ношей, непосильной.  
Казалось, что пот обильный  
Не только тело — душу жжет.  
Мы неустанно шли вперед  
Дорогой опаленной, пыльной.  
Рот пересох.  
За шагом — шаг  
Идем равниной неживою.  
Глаза вдруг застилает мрак  
Горячей золотой волною.  
Хотя б глоток воды. Пуста  
Бесценный друг походов — фляжка.  
В набухших венах кровь густа, —  
Струится медленно и тяжко.  
Искали влажные следы  
К местам пастушеских становий,  
Отдать готовы каплю крови  
За каплю каждую воды.  
Но нет воды.  
И далеки  
Пути в безжизненной пустыне.  
Мертвы сыпучие пески,  
И над песками солнце стынет.  
И был бескрайним каждый день.  
С трудом передвигали ноги.

Хотя бы мимолетно тень  
Легла прохладой на дорогу.  
Но солнце беспощадно жжет.  
По телу льется липкий пот,  
Все тот же безотрадный вид  
Пустыня мертвая хранит.  
За часом — час и день за днем  
Пустыней желтою идем.  
Порою падали без сил,  
Под тяжестью своей сгибаясь.  
И снова дальше шли, шатаясь,  
И вслед нам ветер пылью бил.  
Когда же в тишине ночной  
Прохлада легкою волной  
Песок горячий охлаждала, —  
Как радостно мы отдыхали!  
А утром снова шли вперед.  
Вперед!  
Приказ нам дал народ.  
Вперед!  
Нам Сталин дал приказ.  
Ничто не удержало нас —  
Мы все прошли, все одолели.  
Стал суше блеск бессонных глаз,  
Да щеки впали, почернели.  
Мы боль отцов в сердцах несли  
И жажду справедливой мести.  
Забыть их дети не могли  
Былого, черного бесчестья.  
Нам ненависть стучалась в грудь.  
И день и ночь не замирая.  
Напрасно преградить нам путь  
Пытались злобно самураи.  
Врага отбросив, шли вперед  
Неудержимую лавиной.  
Хинганский позади хребет,  
Внизу манчжурские равнины.  
Там мы закончили поход.

Сентябрь, 1945 г.,  
Югодзыйр-Хид, Монголия.

## ВАСЯ

Ратькову Ефиму Ивановичу давно уже перевалило за сорок, и он вернулся с фронта, как после большого трудового дня — усталый и строгий. Расцеловал жену и дочерей, облегченно вздохнул и прошел в передний угол. Ласково посмотрел на дочерей, поговорил с женой о том, как они подросли, поинтересовался их успехами в ученьи. Окинув еще раз взглядом свою семью, он проговорил:

— Вот и все теперь дома — можно и за стол садиться.

— Нет, не все, — возразила жена, — сына еще нехватает.

— Да-а, нехватает, — тяжело вздохнул Ефим Иванович и печально продолжал: — росли, учили, радовались... Как ты мне сообщила на фронт, что получено извещение....

— Я уж все слезы выплакала, отец, но хоть вся слезами изойди, не вернешь... Живым надо жить... Но ведь я про того говорю, который здесь. На выходной он придет.

— Придет?.. Как это придет? — в голосе Ефима Ивановича слышалось замешательство и изумление. — Откуда придет?

— Эх, память-то у тебя, отец, какая стала, — сокрушенно покачала головой жена. — Ты забыл, видно, кого посылал ко мне.

— Кого?

Жена нашла в комодке бумажку и подала мужу.

— Почитай, — спокойно и снисходительно проговорила она, — может припомнишь, как было дело. Ты писал — твою руку я ведь хорошо знаю...

«Мария!

Прими этого мальчика, как родного сына, и устрой его учиться в ту школу, которую окончил наш Александр.

Твой муж Ефим Ратьков».

— Храни! Все правильно — моя записка. Храни! — сказал Ефим Иванович и передал бумажку жене.

Он подумал, вспомнил и принялся со всеми подробностями рассказывать нехитрую историю этого мальчика.

..Город в Восточной Пруссии... Толпы советских людей, возвращающихся домой из фашистской неволи. На краешке тротуара присел мальчик, у которого только что умерла мать в дороге. Советская Армия прорвалась уже в глубь Германии, через этот город уже проходили ее тылы...

Мальчик сидел на тротуаре, чего-то дожидаясь. Его окружали наши солдаты из частей обслуживания — люди пожилые, семейные, хозяйственные.

— Куда же ты теперь? — озабоченно спрашивали они.

— Куда все...

— Все спешат к кому-то, а тебя кто ждет?

— Отец-то у тебя где?

— На войну ушел.

— Ничего о нем не слышно?

— Ничего....

— Парень ты, видать, крепкий, — проговорил сидящий казак с перевязанной рукой. — Поезжай ты к нам на Дон — там штаны с лампасами носить будешь.

Он выставил правую ногу, повернул ее боком. Мальчик поглядел на красную полоску, пламенеющую на черном сукне, и глаза его загорелись. Казак написал ему коротенькую записку. Мальчик охотно принял ее и тщательно спрятал за пазуху.

С исписанным листком из тетради подошел высокий сибиряк.

— Лампасы лампасами, но кое-что и другое на свете есть, — проговорил он и подал записку. — Кай к нам в Сибирь — народу туда много надо... Там наши охотники обучат тебя белку в глаз бить. Понимаешь? Станешь стрелять одной дробинкой и только в глаз, чтобы не испортить шкурку. Понял?

Мальчик спрятал записку сибиряка и задумался, выбирая, куда лучше поехать.

— Уж если кто может тебя сделать человеком, так это только я, — самоуверенно заявил румяный толстый солдат. — Поезжай в Одессу!... Черное море, корабли..

— Черное море, корабли, — перебил его Ратьков. — Ты, парень, уже не маленький, должен в корень глядеть. Ты, помнится, говорил, что из Белоруссии.

— Ага,—подтвердил мальчик.

— Немцы разорили ее. Да и ты сам в лохмотьях. Одевать надо народ. Поезжай в наш текстильный край, найдешь там город Вичугу, фабрика там лепится к фабрике, а недалеко от этих фабрик будет деревня Ясновка... Придешь в нее и спросишь Марию Павловну Ратькову... Она — ткачиха первой руки, в фабричном деле знает все ходы и выходы и живо устроит тебя на профессию. Через год, через два ты выйдешь там в люди.

На улице стояли готовые к отъезду грузовики. Офицеры пересыльного пункта ходили среди возвращающихся со списками.

— Василий Кулешов! — выкликнул один из них. Мальчик вскочил и стремглав бросился к машине.

— Подумай хорошенько, — кричал ему вслед Ратьков, — в корень гляди.

— Вичугой его не соблазнишь, — проговорил казак. — Что такое Вичуга? На какой карте ее отыщешь? А Дон весь мир знает, и мальчишка туда подается... Добрый казак из него выйдет.

— В Сибирь махнет, — молвил сибиряк. — Как я сказал «дробиной в глаз», так он сразу задумался.

Машина, в кузов которой вскочил мальчик, умчалась на восток, солдаты разошлись. Наступление Красной Армии успешно продолжалось, завершилось нашей полной победой, и пожилой Ратьков с первым эшелоном демобилизованных, на котором пламенел плакат «Мы из Берлина», прибыл домой.

— Так, стало быть, он здесь? — проговорил Ефим Ивзныч, обращаясь к жене. — Молодец! Ну, и молодец!

Он был восхищен этим паренком, высоко оценившим дело, которым испокон веков занималась вся родня Ефима Иваныча. Паренек «подумал», «поглядел в



корень», стало быть, он дельный, умный.. Это все так тронуло отзывчивое сердце Ефима Иваныча, что он не утерпел, не дождался выходного, когда Вася придет на побывку, и среди недели решил с ним повидаться.

Ратьков шел по улице районного городка и вглядывался: все цело, все на месте, только штукатурка на некоторых домах облупилась, да камни на мостовой выщербились. «За починку пора», — подумал солдат.

Краем мощеной улицы шла группа ребят в серых тужурках из меланжа, в форменных фуражках.

Ефим Иваныч остановился. Перед ним мелькнуло полудетское лицо паренька с насупленным взглядом и тонкими, плотно сжатыми губами.

— Вася! — крикнул Ефим Иваныч. — Кулешов!

Один из подростков вышел из строя и остановился.

Ефим Иваныч неторопливо направился к нему. Подошел, вгляделся и тихо положил свои тяжелые руки на плечи мальчика.

— Немецкий городишко не забыл? Записки-то тебе мы давали — помнишь?

— Помню, — проговорил Вася, густо зарумянившись.

Ефим Иваныч обхватил его и крепко прижал к себе.

— Вот и хорошо.. Вот и встретились! Ты тогда, стало быть, подумал и решил по моему совету поступить?

— Решил, — проговорил Вася.

Эта встреча привлекла внимание всей группы учеников. Они столпились вокруг Васи и Ефима Иваныча. Подошел и руководитель группы — старый ткацкий мастер — и подал Ефиму Иванычу руку. Они были хорошо знакомы по работе на фабрике, а потом разговаривались по душам.

— Куда направляетесь? — спросил Ратьков.

— С утра у нас были уроки, а теперь после обеда двигаемся на практические занятия.

— Тогда идемте и я с вами пройду.

Ребята построились и пошагали к фабрике. Ефим Иваныч пошел рядом со старым мастером.

— А ты ведь, помнится мне, совсем на покой ушел, — заметил Ратьков.

— Ушел, а во время войны вернулся, заведывал цехом, а потом взялся за педагогию... Учю ребяток —

дело-то уж очень это благодарное: всю жизнь ведь они меня помнить будут.

— Благодарное! — согласился Ефим Иваныч. — Уж действительно на всю жизнь запомнят.

Подавшись ближе к старому мастеру, он шопотом спросил:

— Мой-то как занимается?

— Старается.. Настойчивый... Только замкнутый, немного угрюмый... Но в дело, прямо-таки, въедается.

— Ему ведь досталось, — на фашистской каторге был.. Как только жив остался! — говорил Ефим Иваныч.

— Он мне рассказывал, — отозвался старый мастер и добавил: — прилежный парень, смышленный...

— Смышленный, — подтвердил Ефим Иваныч. — Там на войне он с двух слов меня понял. Ему предлагали и то, и другое, и третье, направляли во все стороны, а он потянулся к нам... Еще молодо-зелено, а уже для народа постараться ему охота. Словами это он еще выразить не может, а в душе такая искорка теплится и ведет его. Одним словом, из паренька толк будет.

— По всему видать, что будет, — заверил старый мастер.

• • •

Человек обстоятельный и неторопливый, Ефим Иваныч после возвращения отдохнул, починил свой дом в Ясновке и потом определился на ткацкую фабрику помощником мастера. Тут он работал до войны, семнадцать лет улаживал ткацкие станки.

Пришло время, и Вася вышел из школы в звании помощника мастера. Его поставили на сорокастаночный комплект. Закончив учебу, он поселился в Ясновке. Ефим Иваныч, выражаясь по-вичужски, «выпросил его в одну смену с собой», чтобы вместе ходить на фабрику.

Часто по забывчивости, а может быть и намеренно Ефим Иваныч говорил Васе, как бывало говорил сыну:

— Саша! Сынок! На смену...

К этому в семье Ратькова быстро привыкли, и стали звать Кулешова Сашей в память погибшего сына и брата.

— На фабрику пора, — говорили в прифабричной Ясновке, заметив неразлучную пару, — вон уже Ефим Иваныч со своим сыном отправился.

При входе в ткацкий цех стояла от пола почти до самого потолка огромная доска показателей. По красному полю белыми выводили тут фамилии соревнующихся и цифры выполнения норм выработки.

— Сынок, взглянь, пожалуйста, что я за полмесяца натворил, — говорил Ефим Иваныч и, простодушно лукавя, добавлял: — У меня здесь в коридоре глаза что-то как бы туманом застилает.

Скользя взглядом по белым строкам, Вася высоко задирая голову и, наконец-то, отыскав дорогую его сердцу фамилию, начинал читать:

— Е. И. Ратьков, — читал Вася.

— Ага!.. Ратьков... Оно самое. Читай дальше.

— Сто пятьдесят девять...

— Сто пятьдесят девять? А что? Нехудо ведь!.. Эва, почти под самым потолком, но надо еще выше! Чтобы нам с тобой долго строчку не разыскивать, надо на самое первое место подняться. Как глянул на самый верх, так сразу и видно — Ратьков. Вот это будет дельно... На первую надо, сынок, на первую! А ты где? А ну, покажи!

Вася низко склонялся, Ефим Иваныч приседал и сокрушенно замечал:

— Э-э-э... почти у самого пола...

— В. Кулешов, — тихо читал Вася, сгорая от смущения, — девяносто восемь.

— Нельзя так, сынок, — строго замечал Ефим Иваныч, — много ты со своими ткачихами одежды народу недодаешь.

— Станки расшатаны, — оправдывался Вася, — никак в порядок их не приведешь...

— Так давай вместе их наладим, а то ведь нехорошо под ногами фамилию искать. И мне совестно: будут говорить, что бывший фронтовик Ратьков только о себе заботится.

Ефим Иваныч стал заходить к Васе в комплект во время работы, оставался с ним после смены, наставлял, помогал, старался передать юному помощнику мастера весь свой драгоценный опыт.

Вася оказался восприимчивым и настойчивым наладчиком станков. Наступил день, когда его фамилия на багряной доске показателей забелела чуть пониже фамилии Ефима Иваныча, который на этот раз забыл о

«тумане» в глазах: он стоял, смотрел, закинув голову, и довольно говорил:

— Вот теперь хорошо: и на душе легко, и на сердце приятно. Еще выше можно, а ниже, сынок, никак нельзя! Привыкай честь своего комплекта высоко держать! — И вспомнив слова казака, который показывал Васе дампасы, добавил: — Тогда добрый из тебя выйдет текстильщик!

---

Вл. Курбатов

## ВСТУПЛЕНИЕ В ОДЕССУ

Просторно в море голубом,  
Светла туманная завеса,  
Мы вышли на берег вдвоем,  
Сказали: «Здравствуй, мать-Одесса!»

Мы шли наперекор судьбе,  
Сквозь все сраженья и преграды,  
Мы пели песни о тебе  
У стен героя — Сталинграда.

Нам часто снились по ночам  
Морские синие туманы  
И шумный портовой причал,  
И эти пышные каштаны.

И чайки крик, и запах роз,  
И в море белые барашки...  
Я видел, как мой друг-матрос  
Роняет слезы на тельняшку.

...И Дон, и Днепр, и Южный Буг —  
Все позади. А путь наш светел.  
Я видел, как моряк, мой друг,  
Вошел в Одессу на рассвете.

Бойцы устали. Пыль дорог  
На них лежала толстым слоем,  
Но с моря тихий ветерок  
Нес свежесть нежную героям.

Бежал взволнованный народ,  
Солдаты песню запевали,

И у распахнутых ворот  
Нас одесситы обнимали.

...Пусть мы прошли сквозь море слез.  
И вся в развалинах Пересыпь,  
Но пьяный радостью матрос  
Кричал: «Да здравствует Одесса!»

Апрель 1944 г.,  
г. Одесса.

## У РОДНОГО ДОМА

То, что эта улица знакома,  
Сердце подсказало наугад.  
На рассвете к маленькому дому  
Подошел с винтовкою солдат.  
Стукнул робко в ветхие ворота,  
Шапку снял и вытер пот с лица,  
Кто-то выйдет нынче. Встретит кто-то,  
Приласкает кто-то молодца.  
Тишина. Он заглянул в окошко.  
Никого. Лишь сети на полу.  
Серая запуганная кошка  
Жалобно мяукнула в углу.  
Нет комода. Нет кровати белой,  
И стола и стульев даже нет.  
Только со стены осиротело  
Смотрит старой матери портрет.  
Обойдя родительскую хату,  
Встал у дерева, сломал лозу.  
Кто же слово вымолвит солдату,  
Кто утрет горячую слезу?  
...С детства жил он здесь на Молдаванке,  
Здесь он вырос. Здесь и полюбил.  
К синю-морию бегал спозаранку,  
За маяк под парусом ходил.  
Привозил богатую добычу:  
Камбалу, бычков и скумбрию.  
У порога, был такой обычай,  
Целовал степенно мать свою.  
А потом он песни пел с друзьями,  
С девушкой до света танцевал...

Но пришла война. Он встал под знамя  
И почти три года воевал.  
Вот вернулся. Молдаванка снова.  
Только дом разрушен, нем и пуст.  
Хоть бы кто! Хотя одно бы слово!..  
Только тополь да сирени куст.  
Встал солдат. Вздохнул. Расправил плечи —  
И пошел тихонько со двора.  
На Одессу падал тихий вечер,  
Где-то песню пела детвора.  
И от этой песенки знакомой  
Просветлел его угрюмый взгляд.  
И сказал он, обращаясь к дому,  
— Будет время. Я вернусь назад!

Май 1944 г.,  
г. Одесса.

## МОСТ У БРАТИСЛАВЫ

Широк Дунай у Братиславы.  
Мутна-здесь быстрая вода.  
Мы шли сюда дорогой славы,  
Не отдыхая никогда.

Мы все прошли: огни и муки,  
Освобождая этот край.  
И братья к нам тянули руки  
Через реку, через Дунай.

И нам войти хотелось в город,  
Чтоб там поднять победный тост.  
Тогда советские саперы  
Пришли и выстроили мост.

...Пройдут года солдатской службы —  
Такие славные года,  
Но прочный мост славянской дружбы  
Не рухнет больше никогда.

Май 1945 г.,  
г. Братислава.

## КОСЫНКА БЕЛОСНЕЖНАЯ

Четвертый день дожди, дожди,  
Грязища непролазная.  
Лежат болота впереди  
Раскисшие и грязные.  
Четвертый день идем, идем,  
Промокшие, усталые,  
Прошли под этим мы дождем  
Километры немалые.  
Солдат еще туда-сюда,  
Пройдет сквозь топь туманную,  
А вот с машинами — беда,  
— Буксуют окаянные!  
Шофер чуть волосы не рвет  
(Спасибо, что остриженный),  
Машина бешено ревет,  
Но, хоть убей, недвижима.  
Солдаты шутят:  
— Вот места!  
И климат замечательный!  
Машина «Красного креста»  
Застряла окончательно.  
— Ребята! Дерните чуток,  
Немного помогите нам!  
Солдаты медлят:  
— Нет, браток,  
Устали мы, не вытянем.  
Вдруг будто каждого из нас  
Коснулось что-то нежное,  
И я увидел пару глаз,  
Косынку белоснежную.  
Что это были за глаза!  
Мы встали, как лунатики...



Тогда один из нас сказал:  
— А ну! возьмемся, братики!  
Взялись солдаты сгоряча:  
Мол, дело-то привычное!  
Подняли, чуть не на плечах,  
Машину горемычную.  
Да я бы ради этих глаз  
Один машину вытянул!  
Шофер, сияя и смеясь,  
Кричал нам:  
— Изумительно!  
Машина скрылась, как мираж,  
Умчалась в даль безбрежную.  
Нам помахала медсестра  
Косынкой белоснежную.  
Мы с легким сердцем шли и шли,  
Мечту лелея тайную.  
Болота кончились. Вдали  
Равнина — степь бескрайняя.

## ГАРМОНЬ

Зорька тихо догорает,  
В небе диск луны повис,  
Вальсы старые играет  
Загрустивший гармонист.  
И гармонь, его подруга,  
Понимая будто все,  
По-над речкой, по-над лугом  
Звуки грустные несет:  
Отчего же вдруг унылым  
Гармонист веселый стал?  
Может, край он вспомнил милый  
И любимые места?  
Может, сердцу нет покоя,  
Без любимой тяжело?  
Может, горюшко какое  
Камнем на сердце легло?  
Призадумавшись, солдаты  
На траве сидят вокруг,  
Молча слушают ребята  
Гармонистову игру.

Головою вдруг встряхнувши,  
Гармонист гармонь рванул  
И, чему-то улыбнувшись,  
Потихоньку затянул:  
— Эх ты, гармонь, гармонь моя,  
Да — четырехугольная!  
Ты скажи, гармонь моя,  
Чем ты недовольная?  
Разбежались пальцы лихо  
Вдоль по клавишам цветным,  
Заиграл сначала тихо,  
С перебором заливым,  
А потом, не умолкая,  
Переборы полились:  
— Эх, ты Волга — мать родная!  
Жигули вы, Жигули!  
Разудалая гармошка  
Прямо за душу берет  
И зовет по светлым стежкам  
В неизвестное, вперед.  
Поспевая друг за другом,  
Пальцы бегают стрелой,  
Рассыпается над лугом  
Звон частушки удалой.  
Слышат травы и былинки  
Под гармошкин говорок:  
— Моя милка, как картинка,  
Только носик короток!  
Вдоль по клавишам гуляет  
Гармонистова рука...  
— Ну-ка, братцы, кто желает  
Отчеканить трепака?  
И, глядишь, пошли в присядку:  
Ну, была, мол, не была!  
Эх, гармоника-трехрядка,  
До чего ты довела!

## РАКЛИСТ

Пышные розы, скромные анютины глазки, робкие одуванчики, ромашки, васильки, узоры мороза на стекле — все это можно видеть в альбоме художника текстильного рисунка. Каждое лето он кое-что, особенно приглянувшееся ему из цветочного богатства природы, заносит акварельными красками в свой альбом. Вот текстильный художник создал рисунок в семь красок: по бирюзовому полю рассыпан букет цветов. Это как будто те цветы, которые художник зарисовал летом в свой альбом, как будто и не те. Одна половина лепестка, например, ярко-желтая, другая ярко-красная, а между ними каким-то чудесным образом проглянула оранжевая. В природе лепестков такой окраски нельзя найти. Это происходит потому, что художник старается не воспроизвести натуру, а украсить жизнь цветами, которые сложнее и ярче встречающихся в природе.

Готовый, четко отделанный рисунок идет в гравёрную. Гравёр трудится долго, тщательно. Для гравировки, скажем, семицветного рисунка ему нужно семь валиков. Именно валиков — коротких, тонких. Каждую красочную деталь он должен выгравировать на отдельном валике. Потом накатчик переведет с них рисунки на большие валы. Наконец, они готовы. К ситцепечатной машине подвозят семь блестящих валов из чистой меди, покрытых искусной гравировкой.

Пойдет рисунок в семь красок. Раклист — Василий Николаевич Точёнов, который полвека проработал на Большой Ивановской мануфактуре, принимается за дело. Ему приносят крок. Так здесь почему-то называется рисунок на бумаге, созданный художником. Василий Николаевич надевает очки, наметанным глазом всмат-

ривается в этот самый крок, чтобы со всей точностью воспроизвести на ткани произведение художника. Раклист вглядывается в рисунок, прикидывает так и эдак, соображает и затем идет точить ракля. Ракля — это длинный нож из беспористой стали. Непременно беспористой. Пористую сталь / краска быстро разъест, и ракля испортит все таинство ситцепечатания.

Нужно большое умение, чтобы отточить раклю. Сообразуясь с различными обстоятельствами, ее надо наточить или, как здесь говорят, «выправить» так, чтобы она стала то очень острой, то не особенно острой, а то почти совсем тупой. После этого нужно установить в машине семь валов и к каждому из них приспособить раклю. Этот нож из дорогой стали против обыкновения ничего не будет резать. Его назначение — счищать краску с гладкой поверхности вала во время его бешеного вращения: краска остается только в углублениях выгравированных узоров. Если же на гладкой поверхности вала останется хотя бы самая малость краски, то, стало быть, ракля испорчена, машину надо немедленно остановить.

Пока раклист со своим помощником, или иначе — крыловым, готовит свою многовальную машину к пуску, красковарка «разделяет» краски. На приготовление их от колориста поступают сложные рецепты.

Красковарка сделала свое дело. Объемистые ушаты с красками рабочий везет на тачке к ситцепечатной машине. На печатание ситца красок расходуется много.

— Вот этого ушата с желтой надолго ли хватит? — спрашиваем раклиста.

— На час с небольшим, — отвечает он.

Весь многообразный, сложный труд прядильщиков, ткачей, граверов, красковаров находит свое завершение на ситцепечатной машине.

В стихотворении «Ситец» наш ивановский поэт-текстильщик Благов, воспев все стадии возникновения ткани из хлопка, говорит:

В печатный цех пойдет она потом,

По ней узоры красочные лягут:

Колосья нив в сияньи золотом,

Цветы лугов иль гроздья спелых ягод.

Преображенные волей художника, эти узоры чаще всего бывают ярче естественных. Это понятно. Худож-

ник текстильного рисунка не копирует «колосья нив в сиянии золотом» и «цветы лугов», он только вдохновляется красотой природы, чтобы создать свое произведение, которое как бы похоже и как бы не похоже с натурой.

Раклист принимается за установку в машине валов. Надо так правильно установить валы, так «страфить» их вращение, чтобы каждый вал точно в положенное место впечатывал в поверхность ткани свою деталь многокрасочного рисунка. Василий Николаевич умеет «страфить», как никто другой — скоро, и очень точно. Крыловой наполнил красками лотки у каждого вала, ученик раклиста повернул рычаг, и большая, сложная, старая, больше полувека печатающая ситцы, машина важно загудела, пошла.

Сквозь очки старый раклист пристально вглядывается в раскрашенную ткань. Кажется все на месте, рисунок идет «трафно». Тогда машину пускают на более быстрый ход. Раклист вглядывается, вслушивается — машина работает великолепно. Раклист дает ей предельно быстрый ход. Кверху, в потолочную щель, в сушилку, а потом в складальный отдел несется бесконечной лентой цветистая ткань. Это замечательное зрелище. С чем его можно сравнить? С массой цветов, поднятых ураганом. Крыловой подливает краски в лотки, звучно покрикивает то вверх, то куда-то на задворки, в противоположный конец корпуса, где находятся рабочие, в обязанность которых входит подавать в машину неотделанный товар и принимать готовый.

В часы работы ситцепечатная машина напоминает собой фонтан, из которого бьет струя ярко-окрашенной ткани. Рядом с раклистом стоит его ученик. Ему надо много наблюдать, смекать, перенимать опыт, чтобы познать редкостное мастерство раклиста. Это труднее, чем, скажем, стать помощником ткацкого мастера. Дело в том, что в работе раклиста много таких тонкостей и потаенных мелочей, которые можно разгадать каким-то особым чутьем. Ему необходимо получить некоторое эстетическое воспитание, обладать вкусом к прекрасному: ведь он всю жизнь будет иметь дело, как и художник, с красками, оттенками и линиями.

Раклист должен хорошо знать состав каждой краски, мысленным взором видеть изменения химических ве-

ществ, составляющих ее. Вот сегодня розовая вела себя очень «прилично», но вдруг ни с того, ни с сего стала давать не тот оттенок. В чем дело? Может чересчур охладилась она, может «огустела» или может быть какая-нибудь часть ее химического состава начала какую-то вторую таинственную, не предусмотренную химиками и красковарами жизнь. Кроме того, надо уметь не только точно установить, «страфить» валы, но и держать рисунок. Часто бывает, что «трафно» печатающийся рисунок вдруг «расходится». Создается такое впечатление, будто невидимая рука разбросала все цветы: лепестки, стебли — все разлетелось на рисунке в разные стороны. Это, видимо, от быстрого вращения перегрелись валы или какие-нибудь иные детали машины. А может, вал укреплен слабо и происходит качка его. Найденных браков в ситцепечатании, в различных технических руководствах и инструкциях названо восемьдесят, а ситцепечатники насчитывают до сотни. Бывают такие «законтыпы», как выражаются раклисты, что трудно докопаться до причины. Машина на полном ходу. Валы страфлены хорошо и рисунок держат точный, краски ведут себя подобающим образом, а вот какой-то вал «штрифит и штрифит». На ткани получается тонкий еле заметный штришок.

Опытный раклист сразу отыщет причину такого брака. Штришок на ткани идет синий, стало быть, шалит вал, печатающий синий узор. Раклист останавливает машину, осматривает раклю, счищающую краску с этого вала. Так и есть: в краске была песчинка, она попала на вал и «прошибла» раклю. На острие ножа образовалась еле заметная выбоинка, и раклю в этом месте оставляет на гладкой поверхности вала частичку краски, которая и штрифит по ткани. Надо точить раклю или ставить новую. Обычно, ткань через все валы ситцепечатной машины проносится с невероятной быстротой, и одна песчинка, попавшая в краску, принесет много вреда. Но этот один из сотни возможных браков не самый таинственный, бывают и более незаметные и хитрые. Лишний штришок, еле заметная чернинка уже нарушают расцветку, раздражают глаз, оскорбляют вкус.

За полвека своей трудовой деятельности Василий Николаевич Точенов изучил все сто видов брака и знает все сто причин, порождающих брак, а следовательно, и

умеет устранить его. Если бы сложить в одно место всю ткань, отпечатанную старым раклистом, получилась бы огромная ситцевая гора. Ситцевики — люди счастливой профессии. Поэты и композиторы, создающие песни, радуются, когда слышат свои творения из уст народа. Песня вошла в жизнь, проникла в сердце народное. Нечто подобное испытывают и ситцевики, когда видят в народе, одетом в ткань их отделки, плоды своего труда.

Из солнечного Узбекистана доставили хлопок. Прядильщики натянули пряжи. Шлихтовальщики наклеили основ. Проборщики пробрали нити основы в берда. Из основ и утка ткачи наткали тканей. Текстильный художник создал рисунок. Гравер выгравировал его на валиках. Накатчик с маленьких валов перевел гравировку на большие валы. Колорист подобрал цвет и оттенки рисунка на ткани. По его рецептуре красковары «разделали» — приготовили эти краски. Наконец, раклист на своей машине смог замечательно завершить этот огромный, многообразный труд — «набил», напечатал, покрыл ткань красивыми узорами. Конец — делу венец. И пошла ткань в народ радовать цветистыми обновками и малого, и взрослого, и старого.

Василию Николаевичу Точенову скоро семьдесят. Но не хочется ему уходить на отдых, заслуженный долгим, плодотворным трудом. Ведь скучно будет жить без любимого дела, вне этого дорогого сердцу мира красок, валов в узорах, ситцев, ласкающих глаз всеми цветами и оттенками, созданными природой и фантазией художников. И потому Василий Николаевич до конца дней своих не хочет расставаться с многовальнoй ситцепечатной машиной, из которой в часы работы, как из чудесного фонтана, бьет стремительная струя цветистой ткани.

## ГНЕЗДО ПОЧКИНЫХ

Нивесть когда они поселились в Иваново. Предки их трудились за деревянными ткацкими станками, когда вся работа по прядению, ткачеству и отделке тканей производилась ручным способом. Следующее поколение слышало уже шум первых паровых машин и проводило

свои трудовые дни за механическими станками в кирпичных корпусах.

Потомки тех ткачей работают теперь на советских фабриках. Сейчас старшинство в этой семье потомственных ткачей принадлежит Марье Васильевне Почкиной. Отец этой именитой ткачихи работал в ситцевой, мать — в ткацкой. Почкины жили в той части города, которая называется Глинищево. Теперь здесь выстроено много больших новых зданий, сюда много раз в день приходит трамвай, а лет сорок назад глухие улочки Глинищева кривились в оцепенелой тишине отдаленной, забытой окраины рабочего города.

Сорок с лишним лет назад Марья Васильевна, будучи девочкой школьного возраста, слышала из уст очевидцев о больших событиях в Иванове. Знаменитая Талка находится в совершенно противоположной части широко раскинувшегося города ткачей, но и оттуда доходили вести в окринное Глинищево. Отец и мать, квартиранты и соседки приносили с Талки много волнующих и восхищенных рассказов о пламенных выступлениях «Отца» — Афанасьева и Михаила Васильевича Фрунзе, мрачных, скорбных вестей о пулях, нагайках царских прислужников. Вслушиваясь в их рассказы, смысленная девочка запоминала, думала, разбиралась в жизни. Ее характер складывался в период ожесточенной борьбы ивановских текстильщиков с фабрикантами и царской властью.

Время тогда было мрачное, жестокое, напряженное, но нельзя представлять ивановских текстильщиков той поры насупленными, хмурыми. Они боролись за свою светлую долю с огромным подъемом жизненных сил, пели революционные песни и слагали песни, горячо любили жизнь, всех честных людей, читали книжки и листовки с таким обостренным вниманием, что запоминали их содержание наизусть. Они любили, женились, любовно воспитывали потомство, и дети их вырастали бойкими, жизнерадостными, способными. Такой выросла и Марья Васильевна. Молодость ее проходила в годы мировой войны и первых лет революции, когда приходилось переносить и преодолевать многие трудности, но в этом преодолении она не потеряла ни своего живого характера, ни своей неиссякаемой работоспособности. Веселая, толковая, хлопотливая, она завела свою семью



и, ни на один год не оставляя фабрику, вырастила трех дочерей и двух сыновей. Десять лет тому назад умер муж, и ей одной пришлось подымать детей и выводить их в люди. И она подняла, вывела — спокойно, обдуманно. При этом ее семейные интересы как-то удачно совпадали с государственными.

В годы Великой Отечественной войны, когда в рабочие коллективы фабрик нужно было влить пополнение, Марья Васильевна привела на Новую Ивановскую мануфактуру, где сама ткала уже многие годы, дочь Лиду.

Хорошо грамотная,мышсленая и бойкая девушка быстро стала привыкать к делу. Юная работница, у которой мать, бабушка и пробабушки были ткачихами, пришла на фабрику уже с определенными склонностями к ткачеству и смело взялась за труд. Какой-то внутренний голос подсказывал ей, как и что надо делать, руки, ловкие и умелые от природы, от материткачихи, легко подчинялись воле и выполняли все движения точно и скоро. Заряжать челноки, пускать станки — это дело нехитрое для дочерей потомственной ткачихи, и через несколько дней она уверенно справлялась с ним. Потом, как полагается, Марья Васильевна покажет, как заводить основные нити, вязать узлы, спросит:

— Видела? Поняла?—Но что еще толку в том, что видела и поняла. Надо, чтобы научилась и привыкла. Мать оборвет несколько основных нитей, выдернет их из берда, ремизок, ламелек. Заведет дочь неладно,—мать укажет на неправильность и вновь вырвет еще больше основных нитей. Так продолжается до тех пор, пока мать не увидит, что дочь научилась заводить нитки быстро и правильно.

Наступили мирные времена. Великая страна-победительница требовала больше тканей. Текстильщики отвечали на это более высокой производительностью. Фабрики расширяли производство, переходили на три смены. Им нужны были тысячи новых рабочих. Тогда Марья Васильевна пришла на родную для нее Новую Ивановскую мануфактуру с дочерью Тамарой и принялась учить ее ткачеству. Тамара Ивановна окончила семилетку, затем двухгодичную школу фабрично-заводского ученичества (были в свое время у нас такие шко-

лы) по прядильному отделению и работала прядильщицей. По обстоятельствам семейного характера ей пришлось провести несколько лет вне родного города, а затем вернуться домой. На семейном совете Тамара открылась, что когда-то в ранней молодости она, видимо, ошиблась: профессия прядильщицы ей не особенно по душе. Это было важное признание. Мать и сестры немало этому удивились и приняли близко к сердцу, стараясь осторожно и вдумчиво разобраться. Они судили — рядили и поняли, что прядение — это не их профессиональный профиль. Ткачество — вот любимое дело Почкиных. Давнее, потомственное, вошедшее в плоть и кровь семьи. Может быть оттого и Тамару непреодолимо тянет к нему. Было решено переквалифицировать своими семейными силами прядильщицу в ткачиху. Тамара принялась учиться ткачеству.

Ласковая, добросердечная в домашнем быту, мать становилась на фабрике суровой и требовательной. Уж она-то знала, какой должна быть доподлинная, умеющая добиваться больших успехов ткачиха. Это еще не много стоит, если дочь будет только уметь работать на ткацких станках. Семья потомственных текстильщиков Почкиных может и должна дать стране много больше отличных тканей! Тамара должна стать первостатейной ткачихой! Результаты хорошей выучки вскоре дали себя знать. Через полгода в печати можно было уже прочитать, что Тамара Ивановна Почкина, недавно пришедшая на фабрику, работая на двенадцати станках, выполняет полторы нормы. Вернулась с фронта третья, самая старшая дочь Марьи Васильевны — Валентина. До войны она работала в товарной конторе и была, как будто, довольна этим, но после того, как посмотрела жизнь и многое пережила, ее потянуло к профессии более прочной, более солидной. В это время, тысячи девушек и молодых женщин, по примеру Галины Сергиенко, переходили из контор в цехи, чтобы пополнить ряды производственников. В семье Почкиных это движение, разумеется, было единодушно одобрено. Люди труда, ткачихи, влюбленные в свою профессию, они уважали настоящее дело в корпусе, непосредственно у станков и поэтому горячо одобрили стремление Валентины стать ткачихой. И она, как и ее сестры Лидия и Тамара, прошла в ткацкой суровой школу матери.

Любовь к своей профессии, как известно, имеет колоссальное значение в жизни человека. Говорят, что работа, которая нравится, наполовину уже сделана. Оттого Валентина быстро и хорошо освоила профессию ткачихи и теперь уже успешно управляет на станках.

Марья Васильевна не только мастерица ткать, но и, выражаясь словами Маяковского, мастерица «делать жизнь». Она стремится не только выучить дочерей, но и воспитать их первоклассными ткачихами, умеющими из месяца в месяц, из года в год систематически добиваться высокой выработки. Ей хочется, чтобы повышенные темпы для ее дочерей стали привычным повседневным стилем работы, высокие производственные достижения — постоянным явлением.

Народ говорит, что самое лучшее наследство — это хорошее воспитание. Такое наследство и хочет Марья Васильевна оставить своим дочерям, передавая им свой огромный жизненный и производственный опыт. Еще во время войны она устроила дочь Лиду своей сменщицей, потом, в мирное время, когда фабрику перевели на три смены, второй сменщицей стала Тамара. Четвертой смены нет, поэтому третьей дочери — Валентине приходится работать отдельно от своих. Марья Васильевна с Лидой и Тамарой трудятся на двенадцати платтовских станках, из месяца в месяц выполняя по полторы нормы. Этих трех работниц с их дюжиной станков знают на Новой Ивановской мануфактуре почти все и называют гнездом Почкиных.

Круглые сутки, не утихая ни на час, шумит гнездо Почкиных: Марью Васильевну сменяет Тамара, Тамару — Лидка. Хлопают батаны, снуют челноки, навиваются на вальяны тысячи метров канифаса, сатина, готовится одежда для родного народа.

Марье Васильевне полсотни лет, а дочери молоды, полны сил и энергии. Пройдет сколько-то лет и Марья Васильевна уйдет на покой, на отдых по старости. Дочерям придется тогда ткать с чужими сменщицами. Пусть тогда любая из них почтет за честь трудиться на одних станках с дочерьми Марьи Почкиной, пусть каждой ткачихе будет в радость сменяться с ними. Поэтому Марья Почкина учит дочерей примерно работать и сдавать станки сменщице в образцовом порядке и безукоризненной чистоте. Она не терпит валяющейся под

ногами путанки, повисших концов, «телефонов», как называют ткачихи оборванные и незаведенные нитки основы...

Как и многое множество потомственных ивановских текстильщиков, из рода в род передают Почкины ткацкое мастерство и очень дорожат своей честью первостатейных ткачих. Уходили из жизни одни Почкины, подрастали и принимались за труд другие. Одни передавали, другие перенимали у них все тонкости и секреты мастерства ткачей.

В Глинищеве, на улице Розы Люксембург, находится домашнее гнездо Марьи Васильевны Почкиной. Это веселый домик с калиткой, с поленницей дров во дворе, с правильными рядами грядок на огороде. В этом доме никогда не бывает пусто. В нем всегда бурлит жизнь. Круглые сутки работницы попеременно уходят и приходят с фабрики, отстояв за станками свои восемь часов. Дом Почкиных — это поистине гнездо, теплое, живое, веселое человеческое гнездо. Кроме выросших и, как говорят охотники, поднявшихся на крыло, в гнезде Почкиных есть еще совсем неоперившиеся птенцы. Это внучки Марьи Васильевны, шаловливые звонкоголосые щегелюньи.

Марья Почкина в своей молодости знала издевательства, штрафы, несправие, испытала ад капиталистической фабрики. Ее дочери родились после революции, росли и воспитывались при советском строе. Они уже пользовались всеми правами свободной жизни и огромными возможностями для своего культурного развития. Мать изо всех сил старалась привить им все семейные качества, трудовые навыки, всю семейную любовь гнезда Почкиных к текстильному труду. Но кроме материнских наставлений, они получили советское воспитание и оттого умеют смотреть на настоящее с высоты великих целей будущего. Они знают, что их будущее велико и светло, а еще светлее будущее их дочерей, внучат Марьи Васильевны. Многие десятилетия трудились ткачихи Почкины, дружно гнездясь в труде и в жизни. Потомство их будет расти, шириться, цвести и ткать чудесные ткани.

## **ЦВЕТЫ НА ТКАНИ**

За стеной гудят машины, а здесь, в фабричной художественной мастерской, тихо, светло, нарядно от свежих садовых цветов, которые пышными букетами пестреют на столах. За столами сидят художники, рисуя с натуры цветы и листья.

Два раза в неделю художественная мастерская Большой Ивановской Мануфактуры превращается в студию. Сюда приходят для творческой учебы все текстильные художники ивановских фабрик. Бывают художники Кохмы, Шуи, Тейкова. Молодые и старые, зрелые мастера и вчерашние ученики, все охотно посещают студию, — и седовласый Петр Никанорович Голиков, мастер с шестидесятидвухлетним производственным стажем, создавший за свою жизнь до тысячи пятисот текстильных рисунков, рисует здесь наряду с молодежью.

Недавно в областном музее открылась выставка его произведений. На открытии выставки старый художник произнес речь, в которой призывал своих молодых товарищей больше изучать формы живой природы, больше рисовать в студии.

— Мне вспоминается, — говорил Петр Никанорович, — как много лет тому назад в Иванове появилась первая рисовальная школа. К тому времени я был уже в годах, имел семью, работал рисовальщиком на фабрике. А хотелось расти, учиться. И вот я, семейный человек, поступил в школу. Терпел насмешки, а дела не бросал. Рисовал гипсовые фигуры. Большую принесло мне это пользу в работе. Сейчас мы рисуем в нашей студии цветы. Это для нас, текстильных художников, еще лучше, еще больше дает нам пользы...

Петру Никаноровичу семьдесят семь лет, но еще верна его рука и остро зрение. Вот он с кисточкой в руке склоняется над большим листом слоновой бумаги. Трогает концом кисточки разноцветные плитки акварельных красок, отыскивая нужный тон. Легко ложатся на бумагу очертания и краски цветочного букета.

Радостно рисовать бархатисто-синий, похожий на крыло бабочки, лепесток цветка или тронутую золотом увядания ветку клена, в которой как будто собрана вся красота осени. Какое здесь разнообразие форм, какое неисчерпаемое богатство цветов и оттенков! Как все это нужно текстильному художнику!

С ранней весны начинается это творческое общение художников-текстильщиков с природой, с появления первой робкой зелени, и кончается поздней осенью, когда пусто в лугах и голы сады. По студийным работам можно проследить все изменения нашей северной флоры.

Вот на рисунке ветка ивы, вся в желтых пушистых сережках, вся как будто озаренная вешним солнышком. Вот золотистые апрельские подвески плакучей березы, нежные иглы и шишки молодой сосны. На других рисунках — розы, питомцы садовых клумб — анютины глазки, многолепестный дельфиниум. Прелестны рисунки полевых цветов. Здесь — ромашки, одуванчики, — тихие улыбки нашего короткого лета, очарование родной земли.

В июле группа художников фабрики им. Молотова две недели провела в деревне. Много хорошего принесла эта экскурсия. Художники ходили по полям, по лесным дорогам. Маленькими солнышками озаряли придорожье ромашки, по краю ржаного поля росли васильки, а на опушке леса качались крупные синие колокольчики, будто кукольные юбочки, сшитые из самого тонкого и нежного батиста. Художники собирали цветы, дома ставили их на столы, на подоконники, раскрывали альбомы и рисовали, рисовали...

Студия существует с 1942 года. В ту трудную пору многие мастера текстильного рисунка отошли от своего дела. Казалось странным думать об украшении тканей в дни, когда каждый должен защищать родину. И художники уходили на фронт или переходили на другие работы.

Надо было вернуть оставшихся в городе художников к их профессии, сберечь искусство текстильного рисунка. Надо было, чтобы художники не разучились рисовать, чтобы они могли пронести свое мастерство сквозь суровые годы войны не потерпевшим ущерба и урона. Нашлись люди, сумевшие выполнить эту задачу. Мысль ивановских художников об устройстве студии текстильного рисунка второе Главное управление хлопчатобумажной промышленности одобрило и пошло им навстречу. Первые же месяцы занятий показали их полезность и плодотворность. Не раз в Иванове и в Москве устраивались выставки работ Ивановской студии. Эти работы были так хороши, что вызывали общее восхищение. По ним можно было судить о творческом росте мастеров.

Дымя папироской, неторопливо двигается от стола к столу, от художника к художнику руководитель студии Аркадий Максимович Кузнецов. Он смотрит работы, поправляет, советует. Его взгляд падает на поставленную в стакан ветку яблони, листья которой горят багрянцем осенних дней.

— Красота какая! — говорит Аркадий Максимович. Он просит не выбрасывать ветку, а засушить и сохранить ее. Любование прекрасным, — красками, линиями — присуще ему, как всякому истинному художнику.

А заведует студией Любовь Николаевна Проворова, талантливая художница с девятнадцатилетним производственным стажем.

До революции трудно было встретить женщину в роли фабричной рисовальщицы.

Жил в Иванове славный мастер текстильного рисунка Григорий Макарович Голубев. Он горячо любил свое искусство и постарался передать его своим детям. Его дочь Анна училась в рисовальной школе, дома вместе с отцом рисовала с натуры и обещала стать хорошей художницей. Неудачное замужество заставило ее искать заработка. Анна Григорьевна решила поступить художницей на фабрику.

Захватив несколько рисунков дочери, Григорий Макарович пошел к своему хозяину, фабриканту Витову.

— Я к вам с просьбой. Нельзя ли устроить мою дочь Анну на работу в нашей рисовальной мастерской?

И показал хозяину рисунки молодой художницы. Витов поглядел, подумал и сказал:

— Рисунки-то хороши, да не хочется на такое дело бабу брать. Засмеют!..

Большого труда стоило Анне Григорьевне проникнуть за запретную черту, поступить в рисовальную мастерскую. А сейчас искусство текстильного рисунка все больше переходит в женские руки.

Любовь Николаевна Проворова работает текстильной художницей с 1927 года. Она — дочь фабричного химика из Шлиссельбурга. В детстве ей нравилось раскладывать принесенные отцом разноцветные полоски материй и рассматривать их узоры. Родные не могли понять, почему девочку так интересуют цветные лоскутки. И уж никак не предполагали, что в ней таится будущая художница.

За девятнадцать лет работы Любви Николаевны Проворовой сто девяносто ее рисунков легли на ткань красивыми узорами. Тонки и изящны их линии, гармоничны краски.

Есть свой художественный почерк, своя манера и у других лучших мастеров.

Голиков стремится передать на бумаге цветок со всеми его особенностями. Он терпеливо и тщательно вырисовывает каждую цветочную тычинку, каждое пятнышко. Чудесной тонкостью, графической четкостью линий отличаются его текстильные рисунки на выставке.

Ольге Васильевне Богословской свойственно стремление к декоративности, к нарядности. Она — мастер мебельного рисунка.

Живописно-ярки, радостны краски Ивана Петровича Хохлычева, особенно хорошо разрабатывающего рисунки для фланели.

Большое счастье отдавать свои силы, свою жизнь любимому делу. И, может быть, нет большей радости, чем радость творческих достижений и удач.

На старой купеческой фабрике мастера текстильного рисунка назывались не художниками, а рисовальщиками. Их считали ремесленниками. Фабрикант смотрел на работающих у него рисовальщиков, как на своих служащих, которых всегда можно перевести на другую работу. Петр Никанорович Голиков вспоминает: когда он несколько лет проработал рисовальщиком на



тверской фабрике Морозова, хозяину вздумалось по экономическим соображениям сократить часть рисовальщиков. Голикову и некоторым другим его товарищам было предложено перевестись на работу в контору. Художники ответили:

— Лучше совсем уйдем с фабрики, чем станем заниматься не своим делом.

И, действительно, ушли. Никто не пошел в конторщики. В то время настоящий художник, человек с талантом и любовью к прекрасному, чувствовал себя униженным, непонятым. Денежная награда не удовлетворяла его. Было больно сознавать, что за ним не признают права на творчество, что его искусство ценится лишь постольку, поскольку оно обогащает фабриканта.

И вот кончилось это поругание таланта. Труд советских художников-текстильщиков признан, как искусство, и у лучших мастеров он становится вдохновенным трудом.

Не оттого ли так растут творчески мастера, рисуя завиток лепестка или орнамент старинной набойки? Не оттого ли старый Голиков так любовно вырисовывает тычинки цветка? Не потому ли так праздничны рисунки его и других художников, — песни в красках?

Немало драгоценных акварелей хранят папки студии. Они служат художникам материалом для новых стилизаций, для новых текстильных рисунков. Все эти ромашки, колокольчики, розы расцветут на ситце, сатине, украсят батист. Та красота, которую стремился выразить своей кисточкой художник, рисуя цветы и листья, войдет вместе с этими тканями в нашу жизнь, будет радовать миллионы людей.

Красивый узор — такое же неумирающее произведение искусства, как хорошая картина.

Цветистые, узорные ткани, материи с рисунками ивановских художников украшают художественную мастерскую Большой Ивановской Мануфактуры. Они широкими волнами ниспадают по стене, а над ними протянута алая лента с надписью:

«Советская ткань должна быть лучшей в мире».

Лучшей, самой прочной и красивой в мире стремятся сделать советскую ткань ивановские ткачи и текстильные художники.

## О СКАЗАХ М. КОЧНЕВА

В течение длительного времени в быту и производстве фабричного Иванова и прилегающих к нему текстильных районов создавались свои пословицы, поговорки, рабочие песни, обличительные частушки, наконец, целые сюжетные сказы, передаваемые из поколения в поколение. К сожалению, не только никто из писателей, но даже краеведы не занимались серьезным сбором и обработкой фольклорного материала бывших рабочих слободок, общежитий. Между тем, фольклор, бытующий в широких массах текстильщиков, несет в себе много оригинального, подлинно живого и целеустремленного, что очень ярко выражало их стремления к раскрепощенному труду. Вникать в глубину устного народного творчества, вслушиваться в особенности разговорного языка трудового народа с его различными производственными обликами — дело более чем благородное.

Известно, с каким восхищением всегда говорили о народном творчестве величайшие гении художественной литературы Пушкин и Горький. Давая высокую оценку русской народной сказке, Пушкин восклицал: «Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото!» Или, обращаясь к молодым писателям, он заявлял: «Вслушивайтесь в простонародные наречия, вы в них можете научиться многому, чего не найдете в наших журналах». А. М. Горький более чем кто-либо обращал внимание на проникновенное понимание художественных образов, сказок и легенд, созданных народом. Так, в речи на I съезде советских писателей в 1934 году он говорил: «...Начало искусства слова — в фольклоре. Собирайте ваш фольклор, учитесь на нем, обрабатывайте его... Чем лучше мы будем знать прои-

лое, тем легче, тем более глубоко и радостно поймем великое значение творимого нами настоящего».

Уместно напомнить и следующие слова А. М. Горького, сказанные им в то же время: «Очень важно отметить, что фольклору совершенно чужд пессимизм, но взирая на тот факт, что творцы фольклора жили тяжело и мучительно, рабский труд их был обесмыслен эксплуататорами, а личная жизнь — бесправна и беззащитна. Но при всем этом коллективу как бы свойственно сознание его бессмертия и уверенность в его победе над всеми враждебными ему силами».

Все эти высказывания с большим основанием могут быть отнесены и к фольклору текстильщиков, впервые собранному и получившему литературную обработку в книге М. Кочнева «Серебряная пряжа».<sup>1</sup> Можно без сомнения сказать, что эта книга найдет многочисленных читателей, как среди них, кому еще памятливы многие стороны дореволюционного прошлого ткачей, так и и особенно среди молодежи, которая помимо художественного удовлетворения, извлечет для себя еще и серьезную познавательную пользу.

В сказах М. Кочнева даны картины быта и производственной жизни текстильщиков, начиная с момента зарождения ткацкого дела в крепостном селе Иваново до политических выступлений иваново-вознесенского пролетариата в период подъема революционного движения 1905 года. Перед читателями проходят образы старинных мастеров-красковаров, мастеров набойного дела, неутомимых в труде доморощенных «химиков» и «колористов», искусных отбельщиков и ткачей. Тут же даны типы купцов-фабрикантов, всевозможных Фокиных, Гарелиных, Куваевых, а также всякого рода проходивцев — «специалистов» из немцев, присваивающих производственные секреты русских мастеров.

Все поступки людей, отображенных в сказах, связаны, главным образом, с фабричной обстановкой, и надо заметить, что автору удалось воспроизвести колорит местности с ее нищенскими рабочими поселками, вроде Ям. Кокуя, Голодаихи, Сластихи, с ее загаженной красками и другими фабричными отбросами рекою Уводью, с ее

<sup>1</sup> М. Кочнев — «Серебряная пряжа» (сказы ивановских текстильщиков), Ивгиз, 1946 г., «Советский писатель», 1946 г.

мелководной, но ставшей знаменитой рекой Талкой, где ивановские большевики собирали текстильщиков на мавки. Элементы фантастики в сказах М. Кочнева не мешают представить себе реальную действительность прошлого. В загадках и прибаутках, пословицах и поговорках, в живом балагурно-обличительном языке ткачей, в краткой, но выразительной характеристике героев автор дает почувствовать быт текстильщиков, запах красок, игру цветов на тканях, достоинство и превосходство русских мастеров над иностранными. Значительное место в сказах занимает подневольное положение текстильщиков во времена эксплуатации человека человеком, а также обрисовка чудовищной физиономии всевозможных дельцов и фабрикантов с их алчной жадной наживы за счет пота и крови трудового народа. Достоинство книги «Серебряная пряжа» дает основание для того, чтобы остановиться более подробно на ряде сторон, изображенных в ней.

\* \* \*

В большинстве сказов М. Кочнева воспроизводится то время старой ивановской действительности, когда первые ткацкие заведения купцов-фабрикантов возникали среди лесов и оврагов. «Зимой, бывалыча, припугнет лисица зайца, так он сперепугу, случалось, в худое окно прямо в ткацкую залетывал. Лоси к самым мытилкам на питье выхаживали. Да отстали, с фабричной краской вода не то, что из Серебряного ручья в Березовом бору — в нос отравой бьет» («Березовый хозяин»). Это было время, когда еще не знали ситцепечатных станков, а между тем, разноцветные ивановские ткани уже славились на рынках Поволжья, Кавказа, Персии и Бухары. Секрет такой широкой известности ивановских ткачей заключается в том, что издавна на ситценабивных и красильных фабриках работали талантливые мастера-красковары или набойщики, добившиеся своим непомерно тяжелым трудом и мудрым опытом исключительной прочности крашения и оригинальности цвета или рисунка.

До сих пор в Ивановском областном музее хранятся образцы старинных тканей в виде платков или сарафанов, бывших в употреблении более 50 лет, прошедших не одну сотню стирок, но не потерявших прелести свое-

го рисунка. Рецепты и способы изготовления красок держались на каждой фабрике в самом строжайшем секрете.

Из книги «Серебряная пряжа» М. Кочнева читатели с увлечением извлекут немало интересных и правдивых картин, рисующих труд и быт замечательных кудесников по расцветке тканей, искусных ткачих и отбельщиков, от которых зависела прибыль купцов-фабрикантов. Недаром ткачи сложили по этому поводу характерную поговорку, гласящую: «Пригож ситец с лица, и в кармане густо у купца».

Беззаветные труженики ткацкого производства поражают своим чудесным мастерством и умным изобретательством. «Ткачиха Авдеевна, — говорится в сказе «Серебряная пряжа», — уж такие канифасы ткала, что твой кашемирские шелка». Мастер набойного дела Федот в «Пальмовой доске» восклицает: «Персидские да заграничные, а мы нешто параличные... Одно скажу, — заявляет он, — коли человек сделал, и я сделаю». Особенно интересен на сей счет сказ «Шаль с кистями», где идет речь о том, как фабрикант Куваев, с помощью подставных лиц, выкрадывает заграничную шаль у приехавшей в Иваново артистки и велит своему «колористу» Илюхе добиться хотя бы подобия красоты этой шали. Но мастерство Илюхи превосходит качество и прелесть заграничной выделки, а когда артистке приносят обратно ее шаль и подают на выбор еще ивановскую, она изумляется искусству русского мастера.

Принося изрядные богатства купцам-фабрикантам, бескорыстные труженики сами для себя ничего не нажили, проводя жизнь в крайней бедности, и единственным их капиталом стала широкая слава в народе, приобретенная честным талантливым трудом. Издавна в быту ткачей складывались сказки, передаваемые из поколения в поколение, где отражались многие и очень часто самые существенные стороны жизни. Кстати сказать, эти сказки не только являлись отражением действительности, но и оказывали свое влияние на развитие ткацкого ремесла.

По этому поводу уместно вспомнить следующие слова А. М. Горького: «Люди, — говорил он, — знакомятся с новыми вещами не только непосредственно видя и осязая вещи, но и по рассказам о вещах. Веро-

ятно сказки должны были способствовать развитию некоторых ремесел: гончарного, кузнечного, ткацкого, оружейного и прочих».

В наиболее раннем фольклоре ивановских текстильщиков значительное место занимают чувство гордости за свой труд, за свое национальное достоинство, осознанная необходимость способствовать развитию ткацкого производства. В сказе «Царь-Петровы паруса» кратко, но выразительно передается эта черта. Ткач Иван, встретившись с Петром Первым, говорит: «Так что мы из фабричного села, а мы там всем миром думаем. С темна до темна в светелках ткем. Чтобы челнок веселей летал, сказки складываем, загадки загадываем. К примеру сказать: окунек прыткий, ныряет с ниткой, не живет в воде, не бывает на сковороде». Отвечая на вопросы Петра, Иван доказывает, что человеку от его рождения до самой смерти не обойтись без ткача: «Когда рубашка рождается, она в старательных руках нуждается, идет в мялку, на прялку, на стан, да в чан. А когда человек на свет появляется, прежде всего, в пеленках нуждается, да в лапотнице, а лапотнице с пеленками, окромя ткача выткать некому». Или: «Как ткач без челнока — не ткач, так и солдат без хорошей амуниции — не солдат. Без челнока и золотые руки полотен не наткут, без хорошей парусины и ладные корабли не поплывут».

Чувства национального достоинства подсказывают ткачу Ивану убедить Петра Первого в надежной прочности ивановских полотен в то время, как авантюрист-немец предлагал царю поехать за ними в Силезию. Сказы М. Кочнева с их подлинно фольклорной тканью неплохо запечатлели образы ткачей, выносливых и трудолюбивых, морально чистых и настойчивых, ненавидящих ложь, насилие, порабощение. С ненавистью они относятся к тем, кто в их среде оказывался малодушным или трусом или тем более предателем. Суровая кара постигает изменника Герасима в сказе «Березовый хозяин». Вот какой приговор был оглашен ему: «Потерял ты свою образину и больше не воротишь; ни зверь, ни птица, ни человек на выручку к тебе не являются. Много ты творил грехов в своей жизни. Но всем грехам грехи — два последних: не набрал духу на чужеземцев грудью встать — один твой грех смерт-

ный; невинного человека оболгал — второй твой смертный грех. И нет тебе за них ни милости, ни пощады».

В сказке «Курень за оврагом» волнующе передана борьба ткачей против польских панов, дошедших до села Иванова в надежде награть добротных полотен, но получивших достойный отпор жителей. «Не голько им в наше не одеться, не дадим и утереться», — заявили ткачи. И когда пришел час расплаты, из уст героя сказа Романа Челнокова предводитель панов услышал убийственные слова: «— Топил ты меня — не утопил, жег ты меня — не сжег, рубил ты меня — не зарубил. Теперь я тебя рубить пришел. Я на своем поле вырос, мой корень глубоко в землю ушел, потому ты его и не вырубил. А ты, как чертополох, на чуждой полосе вылез. Вырублю я тебя и на дорогу выброшу». Но чем больше в Иванове росло хлопчатобумажное производство, чем быстрее село Иваново перерастало в промышленный город, тем сильнее и целеустремленнее формировалось классовое самосознание рабочих-текстильщиков.

Бесстыдные эксплуататорские приемы фабрикантов, доводившие ткачей до беспросветной нищеты, чахотки, все больше вызвали у трудящихся необходимость коллективного протеста. Люди, от которых зависели огромные прибыли предпринимателей, несли на себе кабальные условия труда. Фабрикант выбрасывал на произвол судьбы всех, кто еще вчера мог быть источником обогащения, а сегодня, вконец изнуренный эксплуатацией, терял трудоспособность. Особенно мучителен был труд красковаров, — несколько лет работы выводили человека из строя, делали его безнадежным калекой. Обычно красковары говорили: «что сотворил бог запашек, проникает до кишек, из чана нюхал — в носу дерет, из котла дохнул — в горле скребет».

В целях обогащения ивановские фабриканты не брезговали даже использованием фальшивых денег и подкупом на эти фальшивки царских слуг, вплоть до министров (сказ «Пальмовая доска»). Душил рабочих бесконечными штрафами и непосильным трудом притворяющийся набожным Яков Фокин, которого ткачи прозвали «чертовым пальцем» и любили слушать ими же сочиненную про него песню:

Фокин Яшка — фабрикант,  
У него такой талант:  
В день субботний поминает  
Он усопших и живых.  
В воскресенье оделяет  
Булкой нищих и слепых.  
А другие дни седмицы  
Он на фабрике своей  
Покрывает все сторицей,  
Штрафом потчует ткачей. («Непробудный сон»).

М. Кочневу нельзя отказать в умении давать сжатые, но выразительные характеристики мануфактурных тузов, характеристики, в которых нашли свое отражение народная ненависть и гнев по отношению к эксплуататорам. В ряде этих характеристик старые ивановские ткачи легко могут видеть лицо того или иного фабриканта, если бы даже автор и не называл их фамилий. Вот несколько примеров: «Бывало приди зимой в контору к Гарелину, попроси горсть снегу с его двора и то не даст. Сперва спросит: «на што тебе?» — потом в затылке почешет, подумает и скажет: «Может снег самому на что понадобится».

Или вот описание «набожного» Фокина, подъехавшего в карете к церкви:

«Вылез Яков Никоныч в черном фраке, картуз в руке держит, за ним жена Фоковна еле-еле выбралась боком, кое-как протиснулась в дверцу, пестрая, как индюшка, в кисейном платье, от ушей до застежек на баретках вся бриллиантами сверкает... За ней сынки да дочки выпорхнули. Ним в церкви свое место отведено, самое почетное, перед царскими воротами. И бог-то не всякого к себе близко подпускал. У кого карман толстый, того наперед, у кого пусто в кармане, тот и у дверей постоит».

Не мог терпеть Фокин, когда ткачи распевали про фабрикантов и особенно много про самого Яшку Фокина остроумные обличительные песенки: «Изничтожить, — орал он, — в печи сжечь сатанинские сосуды... Фокин дубовой палкой о паркет стучит, у самого инда руки трясутся, глазами норовит всех съесть, а глаза у него были лиловые, крупные, как у теленка, круглая голова, что клубы пряжи, на плечах лежала, шеи вовсе не было». Но не в силах были ни Гарелины, ни Фокины «изничто-



жить» свободолюбивые песни, которые, как кошмар, преследовали фабрикантов. В этих песнях превосходно отражался рост классового самосознания текстильщиков. В каморках и слободках, у церквей, куда подъезжали пышные кареты мануфактурных дельцов, можно было слышать одну из многих песен:

Голову бедняцкую,  
Кабала, ты кабала,  
А куда ты привела?  
Привела на ткацкую.  
Встану, встану по гудку,  
Потом умываются,  
Для кого полотна тку,  
Для кого стараюсь («Непробудный сон»).

Но пришло время, когда ткачи уже не довольствовались только обличительными частушками или песнями, а все больше и сплоченнее становились на путь открытой классовой борьбы. Два последних сказа в книге М. Кочнева («Муравьиный обед» и «Злая рота») живо изображают революционных ткачей, как грозную и хорошо организованную силу, выступающую против эксплуататоров, против царского самодержавия.

\* \* \*

В начале XX века город Иваново-Вознесенск представлял собой крупнейший текстильный центр России. Здесь работало до 30.000 рабочих, переносивших на своих плечах гнет небольшой кучки фабрикантов, владевших миллионными богатствами. О кабальных условиях труда иваново-вознесенского пролетариата было известно далеко за пределами города. В октябре 1901 г. в Ленинской «Искре» сообщалось: «Ивановский городской голова Дербенев на своей фабрике изнуряет рабочих сверхурочными работами, делящимися иногда всю ночь». В том же году в № 9 «Искры» говорилось: «На фабрике Бурьлина практикуется в широких размерах обсчитывание рабочих при выдаче заработка». К этому времени у ивановских текстильщиков был уже накоплен солидный революционный опыт, и это сказалось на мощном политическом движении иваново-вознесенского пролетариата в революции 1905 года, когда иваново-вознесенцы, руководимые большевиками, создали один из первых в мире Совет рабочих

депутатов. В статье «Кровавые дни в Москве» (1905 г.) В. И. Ленин писал: «...Наконец и центр зашевелился. Иваново-Вознесенская стачка показала неожиданно высокую политическую зрелость рабочих. Брожение во всем центральном промышленном районе шло уже непрерывно усиливаясь и расширяясь после этой стачки. Теперь это брожение стало выливаться наружу, стало превращаться в восстание»\*)

Иваново-вознесенские события 1905 года вошли блестящей страницей в историю большевистской партии и глубоко запечатлелись в сознании народа. Вокруг этих революционных событий, их вдохновителей и организаторов в среде ткачей складывалось также немало героических сказаний, и одной из существенных заслуг книги М. Кочнева «Серебряная пряжа» является то обстоятельство, что ее автор сумел запечатлеть их. Сказы «Муравьиный обед» и «Злая рота» показывают участие иваново-вознесенцев в первой русской революции. Душой большевистской партийной организации и революционных ткачей в то время был Михаил Васильевич Фрунзе, присланный весной 1905 года в Иваново-Вознесенск Центральным Комитетом партии и носивший партийную кличку «Арсений». М. В. Фрунзе—«Арсений» был организатором и руководителем знаменитой иваново-вознесенской стачки ткачей в 1905 году. В сказе М. Кочнева «Муравьиный обед» передана самая теплая любовь текстильщиков к своему большевистскому руководителю, к прекрасному человеку, обаятельный образ которого перешел в народные легенды.

Вот как рисуется облик М. В. Фрунзе в только что упомянутом сказе:

«На наших фабриках, кто постарше, все про Арсения вспоминают. Хороший больно человек был. Многие его помнят. Немного пожил, а добрую память о себе навек оставил. За правду первый шел. И другие, глядя на него, тоже головы поднимали — и стал у ткачей вожаком, как матка в пчелином улье. Коли кто куваевских обидит, за куваевских гарелинские вступятся, гарелинских тронут, за них маракушевские встанут—один за одного... А головой всему делу был Арсений. Он у самого Ленина

\*) Ленин. Соч., т. VIII, стр. 278.

все науки прошел... Где ткачи — там и Арсений, а где Арсений — там и радость. Умные речи, дельные разговоры про стачки, забастовки. А это хозяевам хуже «поднырка» на куске, и никакая полиция его не споймает... Никаких денег хозяева не жалели, только бы отделаться от Арсения. Ан сколько ни старались — все даром. В том году, когда царь питерских расстрелял, наших тоже многих покалечили, а коих и совсем порешили — все по царевой указке. В те поры от товарища Ленина Арсению письмо пришло... Свой наказ Ленин ткачам велел сказать, чтобы духом не падали. Стал Арсений своих верных помощников по фабрикам рассылать, фабричных повешать: мол, в такой-то день, в такой-то час приходите за куваевский лес, на партийную сходку, письмо дорогое читать».

В сказе «Муравьиный обед» рассказывается о том, как ревностно оберегали ткачи своего руководителя от царских ищек и шпиков, как непроходимым железным кольцом окружали они «Арсения» от продажных прохвостов и негодяев. «Арсений всегда был с нами, — заканчивается сказ, — и поймать его по цареву указу никак не могли, — зорко его фабричные люди оберегали».

Тут же М. Кочневу удалось раскрыть психологию революционных ткачей, которые не только ткали полотна, но и водружали их как знамена, на которые вписывались победоносные большевистские лозунги.

Интересен также сказ «Злая рота», изображающий конспиративную квартиру сапожника Антона, куда часто являлся М. В. Фрунзе и проводил свои пламенные большевистские беседы с рабочими. Тут же остроумно рассказывается о том, как революционным ткачам удалось парализовать действия казацкой сотни путем агитационной работы среди казачества, присланного царским правительством для расправы с «непокорными» текстильщиками.

\* \* \*

Появление в свет книги М. Кочнева «Серебряная пряжа» является несомненным положительным фактом нашей советской литературы. Автор сумел проникнуть в особенности и достоинства рабочего фольклора текстильщиков, отобразив в нем наиболее существенные и значительные мотивы.

Умный, живой юмор, присущий природе жизнелюбивых ткачей, красковаров, прядильщиков, передан в сказах художественно просто, естественно, что особенно подкупает читателя, оставляя у него отрадное впечатление.

Но если юмор и жизнелюбие являются неотъемлемыми чертами рабочего фольклора вообще, то к положительным качествам сказов М. Кочнева следует отнести и то обстоятельство, что автор хорошо понял и уловил оттенки, специфику юмора в фольклоре текстильщиков. В выразительных пословицах и поговорках, уместно вкрапленных в тексты сказов, в небольших рабочих песенках, в речи героев юмор текстильщиков несет в себе острую политическую окраску, богатое внутреннее политическое содержание. По мере роста революционного сознания жителей фабричного Иванова, по мере развития революционного подполья, конспирации и открытых массовых выступлений, политически насыщенный и острый юмор ивановцев легко перерастал в сатиру и становился могучим орудием меткого обличения эксплуататоров, царского самодержавия.

Так, в сказе «Злая рота» сапожник Антон, не столько занимавшийся своим ремеслом, сколько устраивавший конспиративные встречи рабочих с М. В. Фрунзе, остроумно и смело высмеивает тупого полицейского Кулька, рассказывая ему сказку о «протухшем короле».

Таких эпизодов, насыщенных тонкой обличительной иронией, в сказах М. Кочнева немало, а в них-то и передается одна из наиболее замечательных сторон фольклора. Верно поступает автор и в то время, когда, прибегая к внешней обрисовке характеров, использует также мотивы юмора или иронии (в зависимости от того, что когда более уместно), идущих от фольклора. В этом случае М. Кочневу удается в нескольких сжатых, но сочных фразах дать описание внешнего облика людей, оставляющих надолго запоминающееся впечатление.

«Хаживал к сапожнику и городской Кулек. Роба, как медный самовар, штаны синие, на боку селедка, по ступенькам стучает, а дурак-дураком, только и по уму его было эту железину на бок таскать» («Злая рота»).

Или, описывая появление на фабрике прохвоста — немца, ворующего у русских красковаров ценные рецепты, дается такой портрет:

«Сразу его заметили: коротенький, ножки коротенькие, ручки коротенькие, пальцы на руках тоже — коротенькие, да красные, что морковки. На взгляд такой тихий, приветливый, с незнакомым человеком обходительный. И голова этакая, круглая, седая, волосы торчат, словно ему затылок-то патокой намазали да в ткацкий пух головой и окунули и облепило голову тем пухом. Живот подушкой под рубашкой. И ходит этот человек тихонько, мягонько, словно резиновый мячик подкатится».

Но не всегда и не везде М. Кочнев достигает того, что может быть названо литературным достоинством. И если говорить об основных недочетах его сказов, то, по существу, они сводятся к тому, что писатель не всегда идет от фольклора текстильщиков, тесно связанного с трудовыми процессами и классовой борьбой, не всегда достигает автор и той краткой выразительности, которая обычно свойственна жанру сказов. Чрезмерные длины в разговорной речи героев и в описании событий в таких сказах, как «Царь-Петровы паруса», «Белый парус» и некоторых других, свидетельствуют о недостаточной тщательной обработке произведений.

Совсем небольшое место занимают в книге сказы, отображающие эпоху революционного подъема текстильщиков; больше всего автор уводит читателя в жизнь фабричного села Иванова, между тем Иваново, как город, с огромной армией революционных текстильщиков, дан только лишь в «Муравьином обеде» и «Злой роте», в то время, как фольклор, связанный с этим периодом, не менее богат и разнообразен. Но судя по сказам, опубликованным после выхода книги «Серебряная пряжа», М. Кочнев продолжает работать над жанром сказов, построенных на современном фольклоре. Данные для плодотворной творческой работы у М. Кочнева несомненны: об этом говорят многие положительные достоинства его книги «Серебряная пряжа».

В содержательном и богатом фольклоре текстильщиков выражалась непреклонная вера в титаническую силу созидательной природы труда, в счастливое будущее трудовых масс народа. Ткачи несли на своих плечах чудовищный гнет капиталистической эксплуатации, переживали кошмарные преследования и гонения со стороны охранников за свои революционные дела, но ни-

что не могло сломить их целеустремленного духа к завоеванию свободы и счастливой жизни. В сказе «Душа в мешке» замечательно раскрыта эта идея. В нем рассказывается, как упорный труд ткача Нефедя оказался сильнее смерти. — «Эй, ткач, вставай, иди за свой стан. Видишь, не принимает тебя ни ад, ни рай. Жить тебе и ткать, пока свет стоит».

Много лет прошло с тех пор, когда в устном творчестве текстильщиков оформлялись эти глубокие, волнующие идеи. Но только путь напряженной борьбы, только организующая сила партии Ленина—Сталина привели народные массы к освобождению.

Много лет минуло с тех пор, когда жили, трудились и боролись народные герои сказов М. Кочнева, герои, потомки которых стали подлинными хозяевами социалистических фабрик и творцами новой социалистической жизни. И заслуга писателя состоит в том, что он сумел галантливо передать чаяния ткачей о раскрепощенном труде, ставшем в нашу великую эпоху оплотом и непобедимой силой могучего Советского государства.

**ВЛАДИМИР ЖУКОВ. „СОЛДАТСКАЯ СЛАВА“**

(Стихи)

Стихи Владимира Жукова, выпущенные Ивановским областным издательством, привлекают своей искренностью, задушевностью и тем ярко выраженным чувством родной природы, которое является традиционным свойством русской поэзии.

Владимир Жуков умеет порой одновременно воздействовать и на слух, и на зрение читателя. У него есть строфы стереоскопичные, зримые, полные цвета и света:

Неся земле от солнца восточку,  
То синие, то голубые,  
Срываясь с веточки на веточку,  
Катились капли дождевые.  
И лес, насквозь промытый грозами,  
Став молодым и серебристым,  
Сверкнул дубами и березами,  
Ударил запахом душистым.

Очень акварельно, свежо и насыщено подлинной эмоцией стихотворение «Есть край такой: малиновые зори...».

Ощущением тончайших нюансов, отличающих среднюю полосу России от юга, примечательно последнее стихотворение книги «Сбиваясь с ног, бегут, бегут ручьи...»

Стихи о войне, занимающие основное место в книге Жукова, тоже изобилуют хорошо подмеченными подробностями, свидетельствующими о том, что молодой поэт умеет видеть и запечатлевать характерные особенности открывающегося перед ним мира:

...И запестрели рыжие пригорки  
И проволока на земле ничьей,  
На песню от простой скороговорки,  
Месяя звуки, перешел ручей.

Два последних стиха дают живое ощущение весны и одно слово «провокола» связывает это ощущение с представлением о войне. В таких ненавязчивых и тонких ассоциациях проявляются основные черты поэтической индивидуальности В. Жукова.

Однако мы обнаруживаем в рецензируемой книге и многочисленные срывы, которые, с нашей точки зрения, объясняются не беспомощностью автора, а его равнодушием к чистоте языка и полнозвучию строфы. В последнее время у нас весьма справедливо подвергается жестокой критике поэтическое «чистописание» и холодная гладкость, за которой читатель не обнаруживает живой мысли и чувства. В связи с этим, некоторые молодые поэты не считают нужным избегать всякого рода раздражающих шероховатостей, смешивая поэтическую небрежность с поэтической непосредственностью и своеобразием. Видимо, этого заблуждения не удалось избежать пока и В. Жукову.

Не давая себе труда «выпрямить» ту или иную фразу, автор зачастую мешает читателю не только воспринять, но и понять написанное:

От этих кленов все пути  
Легли на Запад батальону.

Вымученный оборот речи воспринимается как простая неграмотность.

...В культянках сучьев, как живые,  
Дрожат в ознобе тополя...

пишет В. Жуков, не чувствуя того, что двумя одинаковыми предлогами «в» испорчены две весьма неплохие строки.

В том же стихотворении — танки «развертывают» землю, хотя предполагается, повидимому, что они ее разворотили.

...Где, привыкнув к службе, в ожиданьи,  
Ждешь ты писем.

Рядом стоящие «в ожиданьи» и «ждешь» здесь негерпимо.

...Но и мне крошечными ночами  
Горестно печалиться дано —

тавтология очевидная. Трудно весело печалиться или горестно веселиться...

Такие незакономерные выражения, как «присутулившись», «заметены», «весна во рвы взлетит» и т. п. засоряют книгу.



Строфы, утяжеленные и усложненные неуклюжим синтаксическим построением, расхолаживают и раздражают читателя:

Ожесточая, ненависть звала  
Не ждать рассвета, грохота орудий  
И, делая упругими тела,  
Оторвала от снега наши груди.

Попробуйте изложить в прозе процитированные строки, и вы сразу почувствуете, какая это абракадабра.

В. Жуков часто наполняет строку сталкивающимися, сливающимися, мешающими движению стиха словами:

Свежим снегом могилу его замело,  
Она вслед нам мерцала фанерной звездой.

Это «онавследнам» терзает слух.

В. Жуков не добивается точного выбора слов. Он пишет:

...Мы зарыли могилу...

Могилу, как известно, можно **вырыть** или **засыпать**, а зарыть можно только кого-нибудь или что-нибудь в могилу, в землю.

То, что автор позволяет себе зачастую очень приблизительно и не точно выражать свои мысли, разжижает и ухудшает книгу.

И потянулись за письмами,  
Всем сердцем радуясь, что вечно  
Российскими грозами неописанными  
Тревожить душу человечью.

Аморфная, грамматически усеченная фраза кажется еще более неуклюжей из-за своей высокопарности.

Переходя к общим выводам, следует сказать, что при всех недостатках книги «Солдатская слава» ИВГИЗ не ошибся, выпустив ее в свет.

Жуков — человек безусловно способный и поэтому не нуждается в скидках к снисхождению.

Мы с особой скрупулезностью отметили все недостатки «Солдатской славы», так как твердо уверены, что молодому поэту в дальнейшем удастся их преодолеть.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<i>С. Никишов.</i> О задачах коммунистического воспитания трудящихся в период завершения строительства социализма и постепенного перехода от социализма к коммунизму	3
<i>М. Кочнев.</i> Сказы ивановских текстильщиков (Новая дорожка, Гудок на заре, Подставка с крыльями)	24
<i>А. Благоев.</i> Детство, поэма	56
<i>В. Беляев.</i> Застава над Бугом	63
<i>Дм. Семеновский.</i> Песни (I. Лен, II. За работой, III Два друга) Дети, Веснушки, стихи	94
<i>Н. Сусленников.</i> Где ты, сокол, Спелым соком вишни налились, стихи	99
<i>Дм. Прокофьев.</i> Высота	101
<i>В. Жуков.</i> Дорога, Баллада о советском артиллеристе, Под Москвой, стихи	167
<i>М. Бритов.</i> В бою, Фронтальная осень, Верность. На стройке. Полыни запах... После боя, Поход, стихи	173
<i>М. Шошин.</i> Вася, рассказ	180
<i>Вл. Курбатов.</i> Вступление в Одессу, У родного дома, Мост у Братиславы, стихи	187
<i>П. Солонин.</i> Косынка белоснежная, Гармонь, стихи	190
<i>М. Шошин.</i> Раклист, Гнездо Почкиных, очерки	193
<i>Дм. Семеновский.</i> Цветы на ткани, очерк	203
<i>Г. Горбунов.</i> О сказках М. Кочнева	208
<i>Л. Длигач.</i> Владимир Жуков «Солдатская слава», стихи	221

Редколлегия: *А. Н. Благоев,*  
*М. Х. Кочнев,*  
*Д. Г. Прокофьев,*  
*М. Д. Шошин*

Художник *И. Т. Колочков.*

Подп. к печ. 16/IX—1947 г. КЕ—01742. Печ. л. 14. Уч.-изд. л. 11,45.  
 В печ. л. 34400 тип. зн. Тираж 10000 экз. Цена 6 руб. 50 коп.

Типография изд-ва Ивановского облсовета депутатов трудящихся,  
 г. Иваново, Типографская, 4. Заказ № 5612.

*Э. В. А.*

Страница	Строка	Опечатка	Следует читать
198	18 сверху	Напечатано окринное	окраинное



6 руб. 50 коп.

